

**Г.Г. ЛУКПАНОВА, В.В. САВЕЛЬЕВА,
Е.О. КУТУКОВА, А.Ш. АСАДИЛЛАЕВА**

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХРЕСТОМАТИЯ

**Для 10 класса общеобразовательной школы
общественно-гуманитарного направления**

**Утверждено Министерством образования и
науки Республики Казахстан**

Алматы



«Жазушы», 2019

УДК 373.167.1
ББК 83.3 (Рус)я72
Р89

Р89 Г.Г. Лукпанова и др.
Русская литература: Хрестоматия. Для 10 класса общеобразовательной школы с русским языком обучения общественно-гуманитарного направления / Составители: Г.Г. Лукпанова, В.В. Савельева, Е.О. Кутукова, А.Ш. Асадилаева. – Алматы: Жазушы, 2019. – 420 с.

ISBN 978-601-200-647-6

В Хрестоматию включены обязательные для чтения, изучения и заучивания наизусть художественные тексты русских писателей XIX-XX вв. Объемные произведения даны в сокращении или представлены в отрывках, что позволяет использовать их во время уроков. Хрестоматия является обязательным дополнением к учебнику.

© Г.Г. Лукпанова, В.В. Савельева,
Е.О. Кутукова, А.Ш. Асадилаева. 2019
© “Жазушы” баспасы, 2019
Все права защищены
Имущественные права на издание
принадлежат издательству “Жазушы”

ISBN 978-601-200-647-6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая Хрестоматия имеет своей целью дать учащимся возможность познакомиться с избранными текстами произведений изучаемых авторов. В нее включены отдельные обязательные для чтения и включенные в школьную программу художественные произведения русских классиков XIX века, а также писателей XX века: Ч. Айтматова и А. Вампилова.

Произведения среднего объема даны в сокращении, произведения большого объема представлены в отрывках, что позволит использовать их на учебных занятиях. Творчество М.Лермонтова представлено подборкой стихотворений, некоторые из них могут стать объектом анализа и быть выбраны для заучивания наизусть.

Литература всегда занимала главенствующее место в культуре России. Она стягивала и объединяла все другие виды искусства: музыку, живопись, театр, балет, кино. Лучшие русские оперы и балеты написаны на литературные сюжеты. Многие стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова стали романами. Картины художников-передвижников перекликаются с литературными текстами. Замечательные художники О.Кипренский, К.Брюллов, В.Перов, И.Репин, И.Крамской, В.Серов, М.Врубель и многие другие оставили нам портреты писателей и поэтов Золотого века, а также иллюстрировали их произведения.

Кино – это новое искусство двадцатого века – и сегодня рассматривает литературные произведения как источник тем и сюжетов. Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин», «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Обломов» И.А. Гончарова, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Бесприданница» А.Н.Островского неоднократно экранизировались. Известные художники иллюстрировали произведения русской классики: Н.Кузьмин, М.Врубель, Д.Шмаринов, Э.Неизвестный, И.Глазунов. Некоторые из иллюстраций включены в хрестоматию.

Произведения русской классики регулярно переиздаются. Они увидели свет на многих языках мира, неоднократно переводились на казахский язык и на языки народов, живущих в нашей республике.

В хрестоматию включены произведения русской классической литературы времени ее расцвета. Они были написаны в XIX веке и сейчас отнесены к разряду шедевров. Все это «вчера» литературной классики, но она по-новому осмысливается и представляется актуальной и сегодня.

Современное звучание приобретают темы нравственного выбора, преступления и наказания, войны и мира, тема семьи, философии природы и любви, темы «бесприданницы» и предательства. Для всех писателей Золотого века был характерен повышенный интерес к личности, к непознанным загадкам и тайнам души человека, к вопросам психологии. Кроме того, каждый из них активно изучал те явления действительности, которые он описывал в поэзии, прозе или драматургии. Мир Литературы объединяет в себе все знания человечества, и поэтому погружение в него позволяет каждому из вас узнать много нового, развить свое воображение и память, соприкоснуться с тайнами человеческого творчества.

Представленные в Хрестоматии тексты сопровождаются краткими историко-литературными, культурологическими и лингвистическими комментариями.

Составители Хрестоматии также советуют вам прочесть все произведения в полном объеме. Пусть не сразу, но непременно! Вы способны узнать и понять всё!

ЛИШНИЕ ЛЮДИ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

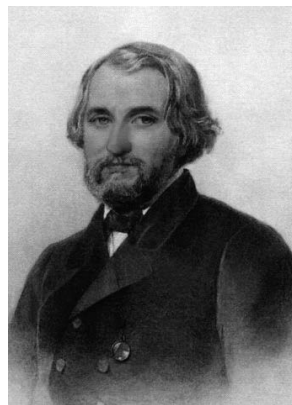
И. С. ТУРГЕНЕВ

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА (фрагменты)

Сельцо Овечьи Воды. 20 марта 18.. года

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог вест! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, все пустяки – да; но в таком случае и сама вечность – пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак – уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, – выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить – не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных – мне не под силу; описания окружающего меня быта – даже меня занять не могут; а ничего не делать – скучно; читать – лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств



и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, – и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: "Как хорошо не шевелиться!" Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили; но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много – самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он перевозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробьи как сумасшедшие кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь.

Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит – и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть – вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится. <...>

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги – так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрузил о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде.

С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с кучьим хвостом и кривыми лапками – Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новгородчины; там наконец я в первый раз увидел между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресенье, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки.

Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни: она, как звук, становится ему внятною спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тьяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струей бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания – скажите на милость, кому не известно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает, – согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выразаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться

в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. <...>

23 марта

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний – именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность – не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово "лишний" не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний – да и только. Сверхштатный человек – вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с неожиданным и незванным гостем.

Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями – и выражением этих чувств и мыслей – находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду – мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался – я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием "быть, как все", – и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, – словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь, скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою-кто знает? кто скажет? <...>

А. С. ПУШКИН

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Pétri de vanitéil avait encore plus de cette
espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même
indifférence les bonnes comme les mauvaises
actions, suite d'un sentiment de supériorité,
peut-être imaginaire.

Tiré d'une lettre particulière.¹



Посвящение²

Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе² представить
Залог достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты;
Но так и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

¹Проникнутый тщеславием, он обладал еще той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого. Из частного письма (франц.).

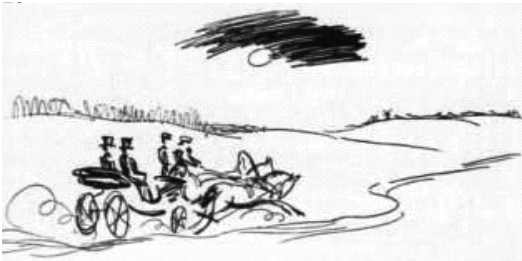
²Посвящение П.А.Плетневу (1792-1865) - литератору, педагогу, позднее ректору Петербургского университета, до последних дней поэта был одним из его ближайших друзей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*И жить торопится, и чувствовать
спешит.
Кн. Вяземский.*

I

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!»



II

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.

III

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил.
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

IV

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде,
Как dandy лондонский одет —
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

V

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

VI

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить vale,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

VII

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

VIII

Всего, что знал еще Евгений,
Пересказать мне недосуг;
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук,
Что было для него измлада
И труд, и мука, и отрада,
Что занимало целый день
Его тоскующую лень, —
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

IX

.....
.....
.....

X

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Являться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен,



Стыдлив и дерзок, а порой
Блистал послушною слезой!

XI

Как он умел казаться новым,
Шутя невинность изумлять,
Пугать отчаяньем готовым,
Приятной лестью забавлять,
Ловить минуту умиления,
Невинных лет предубежденья
Умом и страстью побеждать,
Невольной ласки ожидать,
Молить и требовать признанья,
Подслушать сердца первый звук,
Преследовать любовь, и вдруг
Добиться тайного свиданья...
И после ей наедине
Давать уроки в тишине!

XII

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

XIII. XIV

.....
.....
.....

XV

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский
праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.

XVI

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его брововый воротник.
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

XVII

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.



Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,
Готов охлопать *entrechat*,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий
С молодой Семеновой делил;
Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет

Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом вспоминать?

XX

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла — все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI

Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».



XXII

Еще амурь, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
Еще не перестали топтать,
Сморкаться, кашлять, шикать,
хлопать;

Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,
Бранят господ и бьют в ладони —
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII

Изобразю ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, —
Все украшало кабинет
Философа в осмнадцать лет.

XXIV

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;

Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

XXV

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

XXVI

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог



Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.

XXVII

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрыпок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

XXIX

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума:
Верней нет места для признаний
И для вручения письма.
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу свои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то... не то, избави боже!
Я это потому пишу,
Что уж давно я не грешу.

XXX

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.

XXXI

Когда ж и где, в какой пустыне,
Безумец, их забудешь ты?
Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
Где мнете вешние цветы?
Взлелеяны в восточной неге,



На северном, печальном снеге
Бы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье.
Давно ль для вас я забывал
И жажду славы и похвал,
И край отцов, и заточенье?
Исчезло счастье юных лет,
Как на лугах ваш легкий след.

XXXII

Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоцененную награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зёркальном паркете зал,
У моря на граните скал.

XXXIII

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид,
Иль розы пламенных ланит,

Иль перси, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.



XXXVI

Но, шумом бала утомленный
 И утро в полночь обратя,
 Спокойно спит в тени блаженной
 Забав и роскоши дитя.
 Проснется за полдень, и снова
 До утра жизнь его готова,
 Однообразна и пестра.
 И завтра то же, что вчера.
 Но был ли счастлив мой Евгений,
 Свободный, в цвете лучших лет,
 Среди блистательных побед,
 Среди вседневных наслаждений?
 Вотще ли был он средь пиров
 Неосторожен и здоров?

XXXVII

Нет: рано чувства в нем остыли;
 Ему наскучил света шум;
 Красавицы не долго были
 Предмет его привычных дум;
 Измены утомить успели;
 Друзья и дружба надоели,
 Затем, что не всегда же мог
 Beef-steaks и страбургский пирог
 Шампанской обливать бутылкой
 И сыпать острые слова,
 Когда болела голова;
 И хоть он был повеса пылкой,
 Но разлюбил он наконец
 И брань, и саблю, и свинец.

XXXVIII

Недуг, которого причину
 Давно бы отыскать пора,
 Подобный английскому сплину,
 Короче: русская хандра
 Им овладела понемногу;

Он застрелиться, слава богу,
 Попробовать не захотел,
 Но к жизни вовсе охладел.
 Как Child-Harold, угрюмый, томный
 В гостиных появлялся он;
 Ни сплетни света, ни бостон,
 Ни милый взгляд, ни вздох
 нескромный,
 Ничто не трогало его,
 Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI

.....

XLII

Причудницы большого света!
 Всех прежде вас оставил он;
 И правда то, что в наши лета
 Довольно скучен высший тон;
 Хоть, может быть, иная дама
 Толкует Сея и Бентама,
 Но вообще их разговор
 Несносный, хоть невинный вздор;
 К тому ж они так непорочны,
 Так величавы, так умны,
 Так благочестия полны,
 Так осмотрительны, так точны,
 Так неприступны для мужчин,
 Что вид их уж рождает сплин.

XLIII

И вы, красотки молодые,
 Которых позднею порой
 Уносят дрожки удалые
 По петербургской мостовой,
 И вас покинул мой Евгений.



Отступник бурных наслаждений,
Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

XLIV

И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

XLV

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;

Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.

XLVII

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невою
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы,
Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.



XLVIII

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые,
Да дрожек отдаленный стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...
Но слаще, среди ночных забав,
Напев Торкватовых октав!

XLIX

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

L

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! — взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами спора,

По вольному распутию моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгой срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издавека
Кончину дяди старика.

LII

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,
На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);



Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.

LIII

Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин — сельский
житель,

Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвящаться невинным,
Брожу над озером пустынным,
И far niente мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVII

Замечу кстати: все поэты —
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;

Их после муза оживила:
Так я, беспечен, воспевал
И деву гор, мой идеал,
И пленниц берегов Салгира.
Теперь от вас, мои друзья,
Вопрос нередко слышу я:
«О ком твоя вздыхает лира?
Кому, в толпе ревнивых дев,
Ты посвятил ее напев?»

LVIII

Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей-богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.

LIX

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный ум.

Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум;
Пишу, и сердце не тоскует,
Перо, забывшись, не рисует,
Близ неоконченных стихов,
Ни женских ножек, ни голов;
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я всё грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет:
Тогда-то я начну писать
Поэму песен в двадцать пять.

LX

Я думал уж о форме плана
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу;
Пересмотрел все это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу.
Цензуре долг свой заплачу
И журналистам на съеденье
Плоды трудов моих отдам:
Иди же к невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

ГЛАВА ВТОРАЯ

О rus!..
Нор.¹
О Русь!

I

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;

Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,

¹О деревня!.. Гораций (лат.)



Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали селы; здесь и там
Стада бродили по лугам,
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

II

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пестрых изразцах.
Все это ныне обветшало,
Не знаю, право, почему;
Да, впрочем, другу моему
В том нужды было очень мало,
Затем, что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

III

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил;
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливки целый строй,
Кувшины с яблочной водой
И календарь осьмого года:

Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.

IV

Один среди своих владений,
Чтоб только время проводить,
Сперва задумал наш Евгений
Порядок новый учредить.
В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.
Зато в углу своем надулся,
Увидя в этом страшный вред,
Его расчетливый сосед;
Другой лукаво улыбнулся,
И в голос все решили так,
Что он опаснейший чудак.

V

Сначала все к нему езжали;
Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышат их домашни дроги, —
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Все да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.

VI

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал



И столь же строгому разбору
В соседстве повод подавал:
По имени Владимир Ленской,
С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.

VII

От хладного разврата света
Еще увянуть не успев,
Его душа была согрета
Приветом друга, лаской дев;
Он сердцем милый был невежда,
Его лелеяла надежда,
И мира новый блеск и шум
Еще пленяли юный ум.
Он забавлял мечтою сладкой
Сомненья сердца своего;
Цель жизни нашей для него
Была заманчивой загадкой,
Над ней он голову ломал
И чуда подозревал.

VIII

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;

Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX

Негодование, сожаленье,
Кто благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем;
И муз возвышенных искусства,
Счастливец, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туману даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в восемнадцать лет.



XI

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни острою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

XII

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Все дочек прочили своих
За полурусского соседа;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..

XIII

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покорооче свесть.
Они сошлись. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего друзья.

XIV

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами — себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.

XV

Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор,
И ум, еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор, —
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет



Да верит мира совершенству;
Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

XVI

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою череду,
Все подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм,
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

XVII

Но чаще занимали страсти
Умы пустынных моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья:
Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь — разлукой,
Вражду — злословием; порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.

XVIII

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,

Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своеволие иль порывы
И запоздалые отзвывы, —
Смиренные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Так точно старый инвалид
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забытый в хижине своей.

XIX

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаюсь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,
Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

XX

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,



Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.

XXI

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не зная,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы
Друзья-соседы, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила
Его цевницы первый стон.
Простите, игры золотые!
Он рожи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Всё в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV

Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещение не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, — больше ничего.

XXV

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,



Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

XXVI

Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Течение сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклой дитя
Приготовляется шутя
К приличию — закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXVII

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимой в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,

Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.



XXVIII

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

XXIX

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы



И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,

С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.

XXXII

Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на статью.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

XXXIII

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
СТИШКОВ чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

XXXIV

Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.

XXXVI

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,

Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий
Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.

XXXVII

Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick! — молвил он
уныло. —
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»
И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.

XXXVIII

И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя



Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,

Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilâtre.¹

I

«Куда? Уж эти мне поэты!»
— Прощай, Онегин, мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
— У Лариных. — «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
— Нимало. — «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,

К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лен, про скотный
двор...»

II

— Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».
— Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу... — «Опять эклога!
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,

¹ Она была девушка, она была влюблена. *Маль-филатр* (франц.).

Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera?..*
Представь меня». — Ты шутишь.

— «Нету».

— Я рад. — «Когда же?»

— Хоть сейчас.

Они с охотой примут нас.

III

Поедем. —

Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят воцаной
Кувшин с брусничною водой.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV

Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор.
Теперь подслушаем украдкой
Героев наших разговор:
— Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. —
«Привычка, Ленский».

— Но скучаешь

Ты как-то больше. — «Нет, равно.
Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А кстати: Ларина проста,

* и так далее (лат.)

Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.

V

Скажи: которая Татьяна?»
— Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна. —
«Неужто ты влюблен в меньшую?»
— А что? — «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

VI

Меж тем Онегина явленье
У Лариных произвело
На всех большое впечатленье
И всех соседей развлекло.
Пошла догадка за догадкой.
Все стали толковать украдкой,
Шутить, судить не без греха,
Татьяне прочить жениха;
Иные даже утверждали,
Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.
О свадьбе Ленского давно
У них уж было решено.

VII

Татьяна слушала с досадой
Такие сплетни; но тайком

С неизъяснимою отрадой
Невольно думала о том;
И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю падшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь;
Душа ждала... кого-нибудь,

VIII

И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни и ночи,
И жаркий одинокий сон,
Все полно им; все деве милой
Без умолку волшебной силой
Твердит о нем. Докучны ей
И звуки ласковых речей,
И взор заботливой прислуги.
В уныние погружена,
Гостей не слушает она
И проклиняет их досуги,
Их неожиданный приезд
И продолжительный присест.

IX

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,

И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

X

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда несправедливо гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.



XII

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир
Или задумчивый Вампир,
Или Мельмот, бродяга мрачный,
Иль Вечный жид, или Корсар,
Или таинственный Сбогар.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

XIV

Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,

Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведу их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искуситель роковой.

XVI

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле деревьев



Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII

«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне».
— Что, Таня, что с тобой? —

«Мне скучно,

Поговорим о старине».

— О чем же, Таня? Я, бывало,

Хранила в памяти не мало

Старинных былей, небылиц

Про злых духов и про девиц;

А нынче все мне тёмно, Таня:

Что знала, то забыла. Да,

Пришла худая череда!

Зашибло... — «Расскажи мне, няня,

Про ваши старые года:

Была ты влюблена тогда?»

XVIII

— И, полно, Таня! В эти лета

Мы не слышали про любовь;

А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь. —

«Да как же ты венчалась, няня?»

— Так, видно, бог велел. Мой Ваня

Моложе был меня, мой свет,

А было мне тринадцать лет.

Недели две ходила сваха

К моей родне, и наконец

Благословил меня отец.

Я горько плакала со страха,

Мне с плачем косу расплели

Да с пеньем в церковь повели.

XIX

И вот ввели в семью чужую...

Да ты не слушаешь меня... —

«Ах, няня, няня, я тоскую,

Мне тошно, милая моя:

Я плакать, я рыдать готова!..»

— Дитя мое, ты нездорова;

Господь помилуй и спаси!

Чего ты хочешь, попроси...

Дай окроплю святой водою,

Ты вся горишь... — «Я не больна:

Я... знаешь, няня... влюблена».

— Дитя мое, господь с тобою! —

И няня девушку с мольбой

Крестила дряхлую рукой.

XX

«Я влюблена», — шептала снова

Старушке с горестью она.

— Сердечный друг, ты нездорова.

«Оставь меня: я влюблена».

И между тем луна сияла

И томным светом озаряла

Татьяны бледные красы,

И распущенные волосы,

И капли слез, и на скамейке

Пред героиней молодой,

С платком на голове седой,

Старушку в длинной телогрейке;

И все дремало в тишине

При вдохновительной луне.

XXI

И сердцем далеко носилась

Татьяна, смотря на луну...

Вдруг мысль в уме ее родилась...

«Поди, оставь меня одну.

Дай, няня, мне перо, бумагу,



Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,
И все Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышит.
Письмо готово, сложено...
Татьяна! для кого ж оно?

XXII

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на берегах Невы
Подобных дам видали вы.

XXIII

Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым повеленьем
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей
Казался иногда нежней,

И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.

XXIV

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влечению чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

XXV

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

XXVI

Еще предвижу затрудненья:
Родной земли спасая честь,



Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевести.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...

Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» в руках!
Я шлюсь на вас, мои поэты;
Не правда ль: милые предметы,
Которым, за свои грехи,
Писали втайне вы стихи,
Которым сердце посвящали,
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило исказали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

XXVIII

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою,

Красавиц новых поколенья,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребление;
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.
Но полно. Мне пора заняться
Письмом красавицы моей;
Я слово дал, и что ж? ей-ей,
Теперь готов уж отказаться.
Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни.

XXX

Певец Пиров и грусти томной,
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.



XXXI

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор,
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц:

Письмо Татьяны к Онегину

*Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,*

*А мы... ничем мы не блещим,
Хоть вам и рады простодушно.*

*Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.*

*Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался!
Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой улаживала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,*



*Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искунитель:
Мои сомненья разреши.
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!*

*Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...*

XXXII

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке;
Облатка розовая сохнет
На воспаленном языке.
К плечу головушкой склонилась,
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча...
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро: встали все давно,
Моей Татьяне все равно.

XXXIII

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филиппевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет».

XXXIV

— Ах! няня, сделай одолжение. —
«Изволь, родная, прикажи».
— Не думай... право... подозренье...
Но видишь... ах! не откажи. —
«Мой друг, вот бог тебе порука».
— Итак, пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему,
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня... —
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».

XXXV

— Как недогадлива ты, няня! —
«Сердечный друг, уж я стара,
Стара; тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли...»



— Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоём уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину. — «Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что ж ты снова побледнела?»
— Так, няня, право ничего.
Пошли же внука своего.

XXXVI

Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна, как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Приехал Ольгин обожатель.
«Скажите: где же ваш приятель? —
Ему вопрос хозяйки был. —
Он что-то нас совсем забыл».
Татьяна, вспыхнув, задрожала.
— Сегодня быть он обещал, —
Старушке Ленский отвечал, —
Да, видно, почта задержала. —
Татьяна потупила взор,
Как будто слыша злой укор.

XXXVII

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,

Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

XXXVIII

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... и на двор
Евгений! «Ах!» — и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью.
И, задыхаясь, на скамью

XXXIX

Упала...
«Здесь он! здесь Евгений!
О боже! что подумал он!»
В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон;
Она дрожит и жаром пышет,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоду в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!)



Песня девушек

*Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему,
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.*

XL

Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,

Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.

XLI

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блестая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилась она.
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

La morale est dans la nature des choses.
Necker.*

I. II. III. IV. V. VI. VII

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времен:
Ловласов обветшала слава

*Нравственность в природе вещей. Неккер
(франц.).

Со славой красных каблуков
И величавых париков.

VIII

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моления, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утрата жизни лучший цвет.

X

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;

Откажут — мигом утешался;
Изменят — рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,
А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На вист вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл
старинный
Им на минуту овладел;
Но обмануть он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излинья;
Мне ваша искренность мила;



Она в волнение привела
 Давно умолкнувшие чувства;
 Но вас хвалить я не хочу;
 Я за нее вам отплачу
 Признанием также без искусства;
 Примите исповедь мою:
 Себя на суд вам отдаю.



XIII

Когда бы жизнь домашним кругом
 Я ограничить захотел;
 Когда б мне быть отцом, супругом
 Приятный жребий повелел;
 Когда б семейственной картиной
 Пленился я хоть миг единый, —
 То, верно б, кроме вас одной
 Невесты не искал иной.
 Скажу без блесков мадригальных:
 Нашед мой прежний идеал,
 Я, верно б, вас одну избрал
 В подруги дней моих печальных,
 Всего прекрасного в залог,
 И был бы счастлив... сколько мог!

XIV

Но я не создан для блаженства;
 Ему чужда душа моя;
 Напрасны ваши совершенства:
 Их вовсе недостоин я.
 Поверьте (совесть в том порукой),
 Супружество нам будет мукой.
 Я, сколько ни любил бы вас,
 Привыкнув, разлюблю тотчас;
 Начнете плакать: ваши слезы
 Не тронут сердца моего,
 А будут лишь бесить его.
 Судите ж вы, какие розы
 Нам заготовит Гименей
 И, может быть, на много дней.

XV

Что может быть на свете хуже
 Семьи, где бедная жена
 Грустит о недостойном муже,
 И днем и вечером одна;
 Где скучный муж, ей цену зная
 (Судьбу, однако ж, проклиная),
 Всегда нахмурен, молчалив,
 Сердит и холодно-ревнив!
 Таков я. И того ль искали
 Вы чистой, пламенной душой,
 Когда с такою простотой,
 С таким умом ко мне писали?
 Ужели жребий вам такой
 Назначен строгою судьбой?

XVI

Мечтам и годам нет возврата;
 Не обновлю души моей...
 Я вас люблю любовью брата
 И, может быть, еще нежней.
 Послушайте ж меня без гнева:



Сменит не раз молодая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждой весной.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

XVII

Так проповедовал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, машинально)
Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вокруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то.
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.

XVIII

Вы согласитесь, мой читатель,
Что очень мило поступил
С печальной Таней наш приятель;
Не в первый раз он тут явил
Души прямое благородство,
Хотя людей недоброхотство
В нем не щадило ничего:
Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,

Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

XIX

А что? Да так. Я усыплю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной
И светской чернью ободренной,
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил стократ ошибкой;
А впрочем, он за вас горой:
Он вас так любит... как родной!

XX

Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
Позвольте: может быть, угодно
Теперь узнать вам от меня,
Что значит именно родные.
Родные люди вот какие:
Мы их обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать
И, по обычаю народа,
О рождестве их навещать
Или по почте поздравлять,
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они...
Итак, дай бог им долги дни!

XXI

Зато любовь красавиц нежных
Надежней дружбы и родства:



Над нею и средь бурь мятежных
Вы сохраняете права.
Конечно так. Но вихорь моды,
Но своенравие природы,
Но мненья светского поток...
А милый пол, как пух, легок.
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны;
Так ваша верная подруга
Бывает вмиг увлечена:
Любовью шутит сатана.

XXII

Кого ж любить? Кому же верить?
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все речи мерит
Услужливо на наш аршин?
Кто клеветы про нас не сеет?
Кто нас заботливо лелеет?
Кому порок наш не беда?
Кто не наскучит никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней, верно, нет его.

XXIII

Что было следствием свиданья?
Увы, не трудно угадать!
Любви безумные страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит;

Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало все, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.
Невольню, милые мои,
Меня стесняет сожаленье;
Простите мне: я так люблю
Татьяну милую мою!

XXV

Час от часу плененный боле
Красами Ольги молодой,
Владимир сладостной неволе
Предался полною душой.
Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный,
В смятенье нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.





XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,

Кузьмина
Кузьмин Н.В. Заставка к строфе XXVI главы IV романа «Евгений Онегин».

Иллюстрация на сайтах «К уроку литературы» и «Литература для школьников»
Источник: Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.: Academia, 1933 г. – С. 122.

Иллюстрация на сайтах «К уроку литературы» и «Литература для школьников»
«Литература для школьников»

XXVI

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает боле
Природу, чем Шатобриан,
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает, покраснев.
Уединясь от всех далеко,
Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берет в рассеянье свою.

XXVII

Поедет ли домой, и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Прилежно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды,

Или на лире голубка
Пером и красками слегка;
То на листках воспоминанья
Пониже подписи других
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет.

XXVIII

Конечно, вы не раз видели
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом.
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'écritez-vous sur ces tablettes,
И подпись: t. à v. Annette;*
А на последнем прочитаешь:
«Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня».

XXIX

Тут непременно вы найдете
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтете
В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякий мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою

* Что вы напишете на этих листках... Вся ваша
Аннетта



Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

XXX

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит
Об Ольге, он про то и пишет:
И, полны истины живой,
Текут элегии рекой.
Так ты, Языков вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь бог ведает кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

XXXII

Но тише! Слышишь? Критик
строгий
Повелевает сбросить нам

Элегии веноч убогий
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте плакать,
И всё одно и то же квакать,
Жалеть о прежнем, о былом:
Довольно, пойте о другом!»
— Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? — Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
— Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не все ль равно?
Припомни, что сказал сатирик!
«Чужого толка» хитрый лирик
Ужели для тебя сносней
Унылых наших рифмачей? —
«Но всё в элегии ничтожно;
Пустая цель ее жалка;
Меж тем цель оды высока
И благородна...» Тут бы можно
Поспорить нам, но я молчу:
Два века ссорить не хочу.

XXXIV

Поклонник славы и свободы,
В волнение бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет награды.



И впрям, блажен любовник
 скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

XXXVI. XXXVII

А что ж Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятия
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом;
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

XXXVIII. XXXIX

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.

XL

Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

XLI

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный



Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

XLII

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!)
Опрятней модного паркета
Блестит речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег.

XLIII

В глуши что делать в эту пору?
Гулять? Деревня той порой
Невольно докучает взору
Однообразной наготой.
Скакать верхом в степи суровой?
Но конь, притупленной подковой
Неверный зацепляя лед,
Того и жди, что упадет.
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.
Не хочешь? — поверяй расход,

Сердись иль пей, и вечер длинный
Кой-как пройдет, а завтра тож,
И славно зиму проведешь.

XLIV

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.
Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых лошадей;
Давай обедать поскорей!

XLV

Вдовы Клико или Моэта
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокреной;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рожила глупостей не мало,
А сколько шуток, и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,



И я Бордо благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К Аи я больше не способен;
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ всегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо, наш друг!

XLVII

Огонь потух; едва золою
Подернут уголь золотой;
Едва заметно струею
Виется пар, и теплотой
Камин чуть дышит. Дым из трубок
В трубу уходит. Светлый кубок
Еще шипит среди стола.
Вечерняя находит мгла...
(Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.)
Теперь беседуют друзья:

XLVIII

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
Что Ольга резвая твоя?»
— Налей еще мне полстакана...
Довольно, милый... Вся семья
Здорова; кланяться велели.
Ах, милый, как похорошели
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!... Когда-нибудь

Заедем к ним; ты их обяжешь;
А то, мой друг, суди ты сам:
Два раза заглянул, а там
Уж к ним и носу не покажешь.
Да вот... какой же я болван!
Ты к ним на той неделе зван.

XLIX

«Я?» — Да, Татьяны именины
В субботу. Оленька и мать
Велели звать, и нет причины
Тебе на зов не приезжать. —
«Но куча будет там народу
И всякого такого сброду...»
— И, никого, уверен я!
Кто будет там? своя семья.
Поедем, сделай одолженье!
Ну, что ж? — «Согласен». —

Как ты мил! —

При сих словах он осушил
Стакан, соседке приношенье,
Потом разговорился вновь
Про Ольгу: такова любовь!

L

Он весел был. Чрез две недели,
Назначен был счастливый срок.
И тайна брачныя постели,
И сладостной любви венки
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная череда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...
Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден.



LI

Он был любим... по крайней мере
Так думал он, и был счастлив.
Стократ блажен, кто предан вере,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,

В весенний впившийся цветок;
Но жалок тот, кто все предвидит,
Чья не кружится голова,
Кто все движенья, все слова
В их переводе ненавидит,
Чье сердце опыт остудил
И забываться запретил!

ГЛАВА ПЯТАЯ

*О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!
Жуковский.*

I

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

II

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысю как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегают дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...



Кузьмин Н.В. Иллюстрация к роману «Евгений Онегин». Источник: Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.: Academia, 1933 г. – С 122.

Иллюстрации на сайтах «К уроку литературы» и «Литературы для школьников»

III

Но, может быть, такого рода
Картины вас не привлекут:
Все это низкая природа;
Изящного не много тут.

Согретый вдохновенья богом,
Другой поэт роскошным слогом
Живописал нам первый снег
И все оттенки зимних нег;
Он вас пленит, я в том уверен,
Рисуя в пламенных стихах
Прогулки тайные в санях;
Но я бороться не намерен
Ни с ним покамест, ни с тобой,
Певец финляндки молодой!

IV

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму,
На солнце иний в день морозный,
И сани, и зарею поздной
Сиянье розовых снегов,
И мглу крещенских вечеров.
По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
И им сулили каждый год
Мужьев военных и поход.

V

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:

То несомненный знак ей был,
Что едут гости. Вдруг увидя
Младой двурогий лик луны
На небе с левой стороны,

VI

Она дрожала и бледнела.
Когда ж падучая звезда
По небу темному летела
И рассыпалась, — тогда
В смятенье Таня торопилась,
Пока звезда еще катилась,
Желанье сердца ей шепнуть.
Когда случалось где-нибудь
Ей встретить черного монаха
Иль быстрый заяц меж полей
Перебегал дорогу ей,
Не зная, что начать со страха,
Предчувствий горестных полна,
Ждала несчастья уж она.

VII

Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима;
Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратно;
И все равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.

VIII

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:



Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:
«Там мужички-то всё богаты,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!» Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошурка сердцу дев.

IX

Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкой двор
В открытом платье выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему на цыпочках летит,
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

X

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я — при мысли о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
Татьяна поясок шелковый

Сняла, разделась и в постель
Легла. Над нею вьется Лель,
А под подушкой пуховой
Девичье зеркало лежит.
Утихло все. Татьяна спит.

XI

И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена;
В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной своею
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Положены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилась она.

XII

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видит никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился.
И кто ж из-под него явился?
Большой, взъерошенный медведь;
Татьяна ах! а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливими шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? медведь за ней!

XIII

Она, взглянуть назад не смея,
Поспешный ускоряет шаг;
Но от косматого лакея
Не может убежать никак;
Кряхтя, валит медведь несносный;
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины



XIV

Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой
Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед,
И сил уже бежать ей нет.

XV

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;

Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, недохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж деревьев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отсюда он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская мольва и конской топ!



Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкой глядит.

XVIII

Он знак подаст — и все хлопочут;
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь светильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,
Из-за стола, гремя, встает;
Все встали: он к дверям идет.



XIX

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Всё указывает на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX

Мое! — сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталась во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,
И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.

XXI

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский; страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...

И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры северной алей
И легче ласточки, влетает;
«Ну, говорит, скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»

XXII

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин,
Но ни Virgiliy, ни Расин,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека,
Ни даже Дамских Мод Журнал
Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека,
Глава халдейских мудрецов,
Гадатель, толкователь снов.

XXIII

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной «Мальвиной»
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собранье басен площадных,
Грамматику, две Петриады
Да Мармонтеля третий том.
Мартын Задека стал потом

Любимец Тани... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавление кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, метель
И прочая. Ее сомнений
Мартын Задека не решит;
Но сон зловеший ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.

XXV

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмокание девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;



Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,
Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

XXVII

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez vous, belle endormie.
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо *belle Nina*
Поставил *belle Tatiana*.

XXVIII

И вот из ближнего посада
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!

Девчонки прыгают заране;
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против; и, крестясь,
Толпа жужжит, за стол садясь.

XXIX

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы
Да рюмок раздается звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемлют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленский
входит,

И с ним Онегин. «Ах, творец! —
Кричит хозяйка: — наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX

Сажают прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно,
дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова

Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но девы томной
Заметья трепетный порыв,
С досады взоры опустил,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

XXXII

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже;
За ним строй рюмок узких,
длинных,

Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино

Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собранье
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.

XXXIV

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгенья
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей,
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольно ль, иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

XXXV

Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
Довольный праздничным обедом,
Сосед сопит перед соседом;
Подсели дамы к камельку;
Девицы шепчут в уголку;



Столы зеленые раскрыты:
Зовут зазорных игроков
Бостон и ломбер стариков,
И вист, донныне знаменитый,
Однообразная семья,
Все жадной скуки сыновья.

XXXVI

Уж восемь робертов сыграли
Герои виста; восемь раз
Они места переменяли;
И чай несут. Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брежет;
И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!

XXXVII. XXXVIII. XXXIX

Но чай несут; девицы чинно
Едва за блюдишки взялись,
Вдруг из-за двери в зале длинной
Фагот и флейта раздались.
Обрадован музыки громом,
Оставля чашку чаю с ромом,
Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков,
К Татьяне Ленский; Харликову,
Невесту переспелых лет,
Берет тамбовский мой поэт,
Умчал Буянов Пустякову,
И в залу высыпали все.
И бал блестит во всей красе.

XL

В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь)
Хотелось вроде мне Альбана
Бал петербургский описать;
Но, развлечен пустым мечтаньем,
Я занялся воспоминаньем
О ножках мне знакомых дам.
По вашим узеньким следам,
О ножки, полно заблуждаться!
С изменой юности моей
Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться,
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

XLI

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.
К минуте мщенья приближаясь,
Онегин, втайне усмехаясь,
Подходит к Ольге. Быстро с ней
Вертится около гостей,
Потом на стул ее сажает,
Заводит речь о том о сем;
Спустя минуты две потом
Вновь с нею вальс он продолжает;
Все в изумленье. Ленский сам
Не верит собственным глазам.

XLII

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;



Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Всё те же: их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

XLIII. XLIV

Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И, наклонясь, ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой

Все видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.

XLV

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
Да Ольга слово уж дала
Онегину. О боже, боже!
Что слышит он? Она могла...
Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
Кокетка, ветреный ребенок!
Уж хитрость ведает она,
Уж изменять научена!
Не в силах Ленский снести удара;
Проказы женские кляня,
Выходит, требует коня
И скачет. Пистолетов пара,
Две пули — больше ничего —
Вдруг разрешат судьбу его.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*La sotto i giorni nubilosi e brevi,
Nasce una gente a cui l'morir non dole.*
Petr.¹

I

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон

Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II

Все успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.

¹Там, где дни облачны и кратки, родится народ,
которому умирать не больно. *Петрарка (итал.)*.



Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девицы в комнатах Татьяны
И Ольги все объаты сном.
Одна, печальна под окном
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

III

Его неожиданным появлением,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведением
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто хладная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну, — Таня говорит, —
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать».

IV

Вперед, вперед, моя история!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще доньше
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,

Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

V

Бывало, льстивый голос света
В нем злую храбрость выхвалял:
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженьях попадал,
И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого сваясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Веры
В долг осушать бутылки три.

VI

Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей посорить молодых
И на барьер поставить их,



VII

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем,
И после тайно обесславить
Веселой шуткою, враньем.
Sed alia tempora! Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.
Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись наконец,
Живет, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

VIII

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нем,
Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том о сем.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним, и так нимало
Поутру не был удивлен,
Когда его увидел он.
Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, ослабя взор,
Вручил записку от поэта.
К окну Онегин подошел
И про себя ее прочел.

IX

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль картель:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,

К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он всегда готов.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

X

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

XI

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Уж поздно; время улетело...
К тому ж — он мыслит — в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов...»



И вот общественное мнение!
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

XII

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивый
Привез торжественно ответ.
Теперь ревнивцу то-то праздник!
Он все боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

XIII

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок —
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,
На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV

«Зачем вечер так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.

Все чувства в Ленском помутились,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностью взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров...

XV. XVI. XVII

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгою своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

XVIII

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!



Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» — Так. — И на
крыльцо.

XX

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объемлет;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой
Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельвиг пьяный на пиру.

XXI

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!»

XXII

Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..»

XXIII

Так он писал темно и вяло
(Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут нямало
Не вижу я; да что нам в том?)
И наконец перед зарею,



Склонясь усталой головою,
 На модном слове идеал
 Тихонько Ленский задремал;
 Но только сонным обаяньем
 Он позабылся, уж сосед
 В безмолвный входит кабинет
 И будит Ленского воззваньем:
 «Пора вставать: седьмой уж час.
 Онегин верно ждет уж нас».



XXIV

Но ошибался он: Евгений
 Спал в это время мертвым сном.
 Уже редуют ночи тени
 И встречен Веспер петухом;
 Онегин спит себе глубоко.
 Уж солнце катится высоко,
 И перелетная метель
 Блестит и вьется; но постель
 Еще Евгений не покинул,
 Еще над ним летает сон.
 Вот наконец проснулся он
 И полы завеса раздвинул;
 Глядит — и видит, что пора
 Давно уж ехать со двора.

XXV

Он поскорей звонит. Вбегает
 К нему слуга француз Гильо,
 Халат и туфли предлагает
 И подает ему белье.
 Спешит Онегин одеваться,
 Слуге велит приготовляться
 С ним вместе ехать и с собой
 Взять также ящик боевой.
 Готовы санки беговые.
 Он сел, на мельницу летит.
 Примчались. Он слуге велит
 Лепажу стволы роковые
 Нести за ним, а лошадям
 Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI

Опершись на плотину, Ленский
 Давно нетерпеливо ждал;
 Меж тем, механик деревенский,
 Зарецкий жернов осуждал.
 Идет Онегин с извиненьем.
 «Но где же, — молвил с изумленьем
 Зарецкий, — где ваш секундант?»
 В дуэлях классик и педант,
 Любил методу он из чувства,
 И человека растянуть
 Он позволял не как-нибудь,
 Но в строгих правилах искусства,
 По всем преданьям старины
 (Что похвалить мы в нем должны).

XXVII

«Мой секундант? — сказал
 Евгений, —
 Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
 Я не предвижу возражений
 На представление мое:

Хоть человек он неизвестный,
Но уж конечно малый честный». Зарецкий губу закусил.
Онегин Ленского спросил:
«Что ж, начинать?» — Начнем,
пожалуй, —

Сказал Владимир. И пошли
За мельницу. Пока вдали
Зарецкий наш и честный малый
Вступили в важный договор,
Враги стоят, потупя взор.

XXVIII

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель хладнокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтись ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Боится ложного стыда.

XXIX

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще. За ближний пень
Становится Гильо смущенный.

Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерил с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,
Не преставая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..



XXXII

Недвижим он лежал, и странен
 Был томный мир его чела.
 Под грудь он был навывлет ранен;
 Дымясь из раны кровь текла.
 Тому назад одно мгновенье
 В сем сердце билось вдохновенье,
 Вражда, надежда и любовь,
 Играла жизнь, кипела кровь, —
 Теперь, как в доме опустелом,
 Все в нем и тихо и темно;
 Замоккло навсегда оно.
 Закрыты ставни, окна мелом
 Забелены. Хозяйки нет.
 А где, бог весть. Пропал и след.

XXXIII

Приятно дерзкой эпиграммой
 Взбесить оплошного врага;
 Приятно зреть, как он, упрямо
 Склонив бодливые рога,
 Невольно в зеркало глядится
 И узнавать себя стыдится;
 Приятней, если он, друзья,
 Завоет сдуру: это я!
 Еще приятнее в молчанье
 Ему готовить честный гроб
 И тихо целить в бледный лоб
 На благородном расстоянье;
 Но отослать его к отцам
 Едва ль приятно будет вам.

XXXIV

Что ж, если вашим пистолетом
 Сражен приятель молодой,
 Нескромным взглядом, иль ответом,
 Или безделицей иной
 Вас оскорбивший за бутылкой,

Иль даже сам в досаде пылкой
 Вас гордо вызвавший на бой,
 Скажите: вашею душой
 Какое чувство овладеет,
 Когда недвижим, на земле
 Пред вами с смертью на челе,
 Он постепенно костенеет,
 Когда он глух и молчалив
 На ваш отчаянный призыв?

XXXV

В тоске сердечных угрызений,
 Рукою стиснув пистолет,
 Глядит на Ленского Евгений.
 «Ну, что ж? убит», — решил сосед.
 Убит!.. Сим страшным восклицаньем
 Сражен, Онегин с содроганьем
 Отходит и людей зовет.
 Зарецкий бережно кладет
 На сани труп оледенелый;
 Домой везет он страшный клад.
 Почуя мертвого, храпят
 И бьются кони, пеной белой
 Стальные мочат удила,
 И полетели как стрела.

XXXVI

Друзья мои, вам жаль поэта:
 Во цвете радостных надежд,
 Их не свершив еще для света,
 Чуть из младенческих одежд,
 Увял! Где жаркое волненье,
 Где благородное стремленье
 И чувств и мыслей молодых,
 Высоких, нежных, удалых?
 Где бурные любви желанья,
 И жажда знаний и труда,
 И страх порока и стыда,



И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юности лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

XL

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,

Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

XLI

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбаей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провожая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним останавливает,
Ремянный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

XLII

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погружаясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?»



И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,

XLIII

Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я — со вздохом признаюсь —
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

XLIV

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрям и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней

(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

XLV

Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я наслаждался... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

XLVI

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Дмитриев.*

*Как не любить родной Москвы?
Баратынский.*

*Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Где нас нет.
Грибоедов.*

I

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.
Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

II

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умилением
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,

И все, что радует, живит,
Все, что ликует и блестит
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

III

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем дуמוю смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,
Вы, равнодушные счастливцы,
Вы, школы Левшина птенцы,
Вы, деревенские Приамы,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах, тяжело нагруженных,
На долгих иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V

И вы, читатель благосклонный,
 В своей коляске выписной
 Оставьте град неугомонный,
 Где веселились вы зимой;
 С моею музой своенравной
 Пойдемте слушать шум дубравный
 Над безыменною рекой
 В деревне, где Евгений мой,
 Отшельник праздный и унылый,
 Еще недавно жил зимой
 В соседстве Тани молодой,
 Моей мечтательницы милой,
 Но где его теперь уж нет...
 Где грустный он оставил след.

VI

Меж гор, лежащих полукругом,
 Пойдем туда, где ручеек,
 Виясь, бежит зеленым лугом
 К реке сквозь липовый лесок.
 Там соловей, весны любовник,
 Всю ночь поет; цветет шиповник,
 И слышен говор ключевой, —
 Там виден камень гробовой
 В тени двух сосен устарелых.
 Пришельцу надпись говорит:
 «Владимир Ленский здесь лежит,
 Погибший рано смертью смелых,
 В такой-то год, таких-то лет.
 Покойся, юноша-поэт!»

VII

На ветви сосны преклоненной,
 Бывало, ранний ветерок
 Над этой урною смиренной
 Качал таинственный венок.
 Бывало, в поздние досуги

Сюда ходили две подруги,
 И на могиле при луне,
 Обнявшись, плакали оне.
 Но ныне... памятник унылый
 Забыт. К нему привычный след
 Заглох. Венка на ветви нет;
 Один, под ним, седой и хилый
 Пастух по-прежнему поет
 И обувь бедную плетет.

VIII. IX. X

Мой бедный Ленский! изнывая,
 Не долго плакала она.
 Увы! невеста молодая
 Своей печали неверна.
 Другой увлек ее вниманье,
 Другой успел ее страданье
 Любовной лестью усыпить,
 Улан умел ее пленить,
 Улан любим ее душою...
 И вот уж с ним пред алтарем
 Она стыдливо под венцом
 Стоит с поникшей головою,
 С огнем в потупленных очах,
 С улыбкой легкой на устах.

XI

Мой бедный Ленский! за могилой
 В пределах вечности глухой
 Смутился ли, певец унылый,
 Измены вестью роковой,
 Или над Летою усыпленный
 Поэт, бесчувствием блаженный,
 Уж не смущается ничем,
 И мир ему закрыт и нем?..
 Так! равнодушное забвенье
 За гробом ожидает нас.
 Врагов, друзей, любовниц глас



Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непростойный спор.

XII

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью
покрылось

Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И всё, прощаясь, суетилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.

XIII

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед...
И вот одна, одна Татьяна!
Увы! подруга стольких лет,
Ее голубка молодая,
Ее наперсница родная,
Судьбою вдаль занесена,
С ней навсегда разлучена.
Как тень она без цели бродит,
То смотрит в опустелый сад...
Нигде, ни в чем ей нет отрад,
И облегченья не находит
Она подавленным слезам,
И сердце рвется пополам.

XIV

И в одиночестве жестоком
Сильнее страсть ее горит,

И об Онегине далеком
Ей сердце громче говорит.
Она его не будет видеть;
Она должна в нем ненавидеть
Убийцу брата своего;
Поэт погиб... но уж его
Никто не помнит, уж другому
Его невеста отдалась.
Поэта память пронеслась
Как дым по небу голубому,
О нем два сердца, может быть,
Еще грустят... На что грустить?..

XV

Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы;
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбацкий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит — и сердце в ней
Забилось чаще и сильней.

XVI

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают...
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор...
И входит на пустынный двор.



К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.

XVII

«Увидеть барской дом нельзя ли?» —
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канаве лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «А вот камин;
Здесь барин сиживал один.

XVIII

Здесь с ним обеживал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»

XIX

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

XX

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.
Темно в долине. Роцца спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою,
И пилигримке молодой
Пора, давно пора домой.
И Таня, скрыв свое волнение,
Не без того, чтоб не вздохнуть,
Пускается в обратный путь.
Но прежде просит позволения
Пустынный замок навещать,
Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI

Татьяна с ключницей простилась
За воротами. Через день
Уж утром рано вновь явилась
Она в оставленную сень.
И в молчаливом кабинете,



Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна,
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.
Сперва ей было не до них,
Но показался выбор их
Ей странен. Чтению предалася
Татьяна жадною душой;
И ей открылся мир иной.

XXII

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтение разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Певца Гяура и Жуана
Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

XXIII

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живею.
Татьяна видит с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа

Себя невольно выражает
То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком.

XXIV

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

XXV

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?
Часы бегут; она забыла,
Что дома ждут ее давно,
Где собралися два соседа
И где об ней идет беседа.
— Как быть? Татьяна не дитя, —
Старушка молвила кряхтя. —
Ведь Оленька ее моложе.
Пристроить девушку, ей-ей,
Пора; а что мне делать с ней?
Всем наотрез одно и то же:
Нейду. И все грустит она,
Да бродит по лесам одна.

XXVI

«Не влюблена ль она?» — В кого же?
Буянов сватался: отказ.



Ивану Петушкову — тоже.
Гусар Пыхтин гостил у нас;
Уж как он Танею прельщался,
Как мелким бесом рассыпался!
Я думала: пойдет авось;
Куда! и снова дело врозь. —
«Что ж, матушка? за чем же стало?
В Москву, на ярманку невест!
Там, слышно, много праздных мест».
— Ох, мой отец! доходу мало. —
«Довольно для одной зимы,
Не то уж дам хоть я взаймы».

XXVII

Старушка очень полюбила
Совет разумный и благой;
Сочлась — и тут же положила
В Москву отправиться зимой.
И Таня слышит новость эту.
На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты,
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей;
Московских франтов и цирцей
Привлечь насмешливые взгляды!..
О страх! нет, лучше и верней
В глуши лесов остаться ей.

XXVIII

Вставая с первыми лучами,
Теперь она в поля спешит
И, умиленными очами
Их озирая, говорит:
«Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,

Прости, веселая природа;
Меняю милый, тихий свет
На шум блистательных сует...
Прости ж и ты, моя свобода!
Куда, зачем стремлюся я?
Что мне сулит судьба моя?»

XXIX

Ее прогулки длятся доле.
Теперь то холмик, то ручей
Останавлиют поневоле
Татьяну прелестью своей.
Она, как с давними друзьями,
С своими рощами, лугами
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осмнадцать кляч,

XXXII

В возок боярский их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит фореитор бородатый,
Сбежалась челядь у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?..» И слез ручей
У Тани льется из очей.

XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Современем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV

Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскуртант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским печат молотком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли.

XXXV

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают, как забор.
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,



И наша дева насладились
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII

Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой,

Пошел! Уже столпы заставы
Белеют: вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настезь отворяет дверь,
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостинной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

XLI

— Княжна, mon ange! —
«Pachette!» — Алина! —
«Кто б мог подумать? Как давно!
Надолго ль? Милая! Кузина!
Садись — как это мудрено!
Ей-богу, сцена из романа...»
— А это дочь моя, Татьяна. —
«Ах, Таня! подойди ко мне —

Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»
— Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил.

XLII

А тот... но после всё расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, развезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

XLIII

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Нехорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редее сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

XLV

Но в них не видно перемены;
Всё в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосьё Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,
Все так же смирен, так же глух
И так же ест и пьет за двух.

XLVI

Их дочки Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,

Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,
Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участия,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клеветают даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Распросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,

Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.

XLIX

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагодарно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
И, близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

L

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой
(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнетты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI

Ее привозят и в Собранье.
Там теснота, волнение, жар,

Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг,
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

LI

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!..
Но полно, полно; перестань:
Ты заплатил безумству дань.

LII

Шум, хохот, беготня, поклоны,
Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,
Между двух теток у колонны,
Не замечаема никем,
Татьяна смотрит и не видит,
Волнение света ненавидит;
Ей душно здесь... она мечтой
Стремится к жизни полевой,

В деревню, к бедным поселянам,
В уединенный уголок,
Где льется светлый ручеек,
К своим цветам, к своим романам
И в сумрак липовых аллей,
Туда, где он являлся ей.

LIV

Так мысль ее далече бродит:
Забыт и свет и шумный бал,
А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал.
Друг другу тетушки мигнули
И локтем Таню враз толкнули,
И каждая шепнула ей:
— Взгляни налево поскорей. —
«Налево? где? что там такое?»
— Ну, что бы ни было, гляди...
В той кучке, видишь? впереди,
Там, где еще в мундирах двое...
Вот отошел... вот боком стал... —
«Кто? толстый этот генерал?»

LV

Но здесь с победою поздравим
Татьяну милую мою
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою...
Да кстати, здесь о том два слова:
*Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.*
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступление есть.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.
Byron.¹*

I

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

II

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя, благословил.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

IV

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой, при луне,
Со мной скакала на коне!
Как часто по берегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V

И, позабыв столицы дальней
И блеск и шумные пиры,

¹Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай
Байрон (англ.).

В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

VI

И ныне музу я впервые
На светский раут привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей
Перед хозяйкой молодою
И темной рамою мужчин
Вкруг дам как около картин.

VII

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним
Как ряд докучных привидений.

Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
— Давно ли к нам он занесен?



VIII

Все тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит также чудака?
Скажите: чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалой.
Довольно он морочил свет...
— Знаком он вам? — И да и нет.

IX

— Зачем же так неблагоклонно
Вы отзываетесь о нем?



За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт
иль хват,

А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,

Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

XIII

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.



XIV

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)

XV

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (Не могу...

XVI

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...)

Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красую
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.



Кузьмин Н.В. Иллюстрация к роману
«Евгений Онегин».

Источник: Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.:
Academia, 1933 г.

Иллюстрации на сайтах «К уроку литературы»
и «Литература для школьников»

XVII

«Ужели, — думает Евгений: —
Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
— Ага! давно ж ты не был в свете.



Постой, тебя представлю я. —
«Да кто ж она?» — Жена моя. —

XVIII

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» — Около двух лет. —
«На ком?» — На Лариной. —
«Татьяне!»
— Ты ей знаком? — «Я им сосед».
— О, так пойдем же. — Князь
подходит

К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

XIX

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губ она.
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И — и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

XX

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоченья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где всё наруже, всё на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI

Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он;
Мечтой то грустной, то прелестной
Его встревожен поздний сон.
Проснулся он; ему приносят
Письмо: князь N покорно просит
Его на вечер. «Боже! к ней!..
О буду, буду!» и скорей
Марает он ответ учтивый.
Что с ним? в каком он странном
сне!

Что шевельнулось в глубине
Души холодной и ленивой?
Досада? суетность? иль вновь
Забота юности — любовь?

XXII

Онегин вновь часы считает,
Вновь не дождется дня конца.
Но десять бьет; он выезжает,
Он полетел, он у крыльца,



Он с трепетом к княгине входит;
Татьяну он одну находит,
И вместе несколько минут
Они сидят. Слова нейдут
Из уст Онегина. Угрюмый,
Неловкий, он едва-едва
Ей отвечает. Голова
Его полна упрямой думой.
Упрямо смотрит он: она
Сидит покойна и вольна.

XXIII

Приходит муж. Он прерывает
Сей неприятный tête-à-tête;
С Онегиным он вспоминает
Проказы, шутки прежних лет.
Они смеются. Входят гости.
Вот крупной солью светской злости
Стал оживляться разговор;
Перед хозяйкой легкий вздор
Сверкал без глупого жеманства,
И прерывал его меж тем
Разумный толк без пошлых тем,
Без вечных истин, без педантства,
И не пугал ничьих ушей
Свободной живостью своей.

XXIV

Тут был, однако, цвет столицы,
И знать, и моды образцы,
Везде встречаемые лица,
Необходимые глупцы;
Тут были дамы пожилые
В чепцах и в розах, с виду злые;
Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;

Тут был в душистых седилах
Старик, по-старому шутивший:
Отменно тонко и умно,
Что нынче несколько смешно.

XXV

Тут был на эпиграммы падкий,
На всё сердитый господин:
На чай хозяйский слишком сладкий,
На плоскость дам, на тон мужчин,
На толки про роман туманный,
На вензель, двум сестрицам данный,
На ложь журналов, на войну,
На снег и на свою жену.

.....
.....
.....
.....
.....

XXVI

Тут был Проласов, заслуживший
Известность низостью души,
Во всех альбомах притупивший,
St.-Priest, твои карандаши;
В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим,
И путешественник залётный,
Перекрахмаленный нахал,
В гостях улыбку возбуждал
Своей осанкою заботной,
И молча обмененный взор
Ему был общий приговор.



XXVII

Но мой Онегин вечер целый
Татьяной занят был одной,
Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы.
О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай:
А без того вам рай не рай.

XXVIII

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль свою вошла!
Как утешительного сана
Приемы скоро приняла!
Кто б смел искать девчонки нежной
В сей величавой, в сей небрежной
Законодательнице зал?
И он ей сердце волновал!
Об нем она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит,
К луне подымлет томны очи,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь!

XXIX

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежают,

И обновляются, и зреют —
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

XXX

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну как дитя влюблен;
В тоске любовных помышлений
И день и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, стеклянным сеням
Он подъезжает каждый день;
За ней он гонится как тень;
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

XXXI

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:
Кокетства в ней ни капли нет —
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет — и едва ль



Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к водам.

XXXII

А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов
О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Еще надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной,
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь-в-точь.

Письмо Онегина к Татьяне

*Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!*

*Случайно вас когда-то встретья,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.*

*Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастьем. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.*

*Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот
блаженство!*

*И я лишен того: для вас
Тащусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...*

*Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной —
И слышу гневный ваш укор.
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;
Желать обнять у вас колени*



*И, зарыдав, у ваших ног
Излить мольбы, признанья, пени,
Все, все, что выразить бы мог,
А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор,
Вести спокойный разговор,
Глядеть на вас веселым взглядом!..*

*Но так и быть: я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе.*

XXXIII

Ответа нет. Он вновь посланье:
Второму, третьему письму
Ответа нет. В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видят, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:
Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...

XXXIV

Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...
Надежды нет! Он уезжает,
Свое безумство проклиная —
И, в нем глубоко погружен,
От света вновь отрекся он.

И в молчаливом кабинете
Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за ворот взяла
И в темный угол заперла.

XXXV

Стал вновь читать он без разбора.
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда:
E sempre bene, господа.

XXXVI

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желанья, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.



XXXVII

И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом — и у окна
Сидит она... и все она!..

XXXVIII

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил
Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta*
Иль *Idol mio* и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

XXXIX

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалась зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живет его: впервые

Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окна, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL

Стремит Онегин? Вы заранее
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его
С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,



Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.



XLII

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.
Не правда ль? Вам была не новость
Смирненной девочки любовь?
И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд
 холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

XLV

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,

Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть

И гордость и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна».

XLVIII

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьянин показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах
небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлечения, для мечты,
Для сердца, для журнальных
сшибок
Хотя крупцу мог найти.
За сим расстанемся, прости!



L

Прости ж и ты, мой спутник
 странный,
 И ты, мой верный идеал,
 И ты, живой и постоянный,
 Хоть малый труд. Я с вами знал
 Все, что завидно для поэта:
 Забвенье жизни в бурях света,
 Беседу сладкую друзей.
 Промчалось много, много дней
 С тех пор, как юная Татьяна
 И с ней Онегин в смутном сне
 Явились впервые мне —
 И даль свободного романа
 Я сквозь магический кристалл
 Еще не ясно различал.

LI

Но те, которым в дружной встрече
 Я строфы первые читал...
 Иных уж нет, а те далече,
 Как Сади некогда сказал.
 Без них Онегин дорисован.
 А та, с которой образован
 Татьяны милый идеал...
 О много, много рок отъял!
 Блажен, кто праздник жизни рано
 Оставил, не допив до дна
 Бокала полного вина,
 Кто не дочел ее романа
 И вдруг умел расстаться с ним,
 Как я с Онегиным моим.

КОНЕЦ

И.А. ГОНЧАРОВ

**ОБЛОМОВ
 (фрагмент)**

Часть первая, гл. IX

СОН ОБЛОМОВА



Где мы? В какой благословенный уголок земли
 перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!

Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и
 пропастей, ни дремучих лесов – нет ничего грандиозного, дикого и угрю-
 мого. <...>

Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.

Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка,
 другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.

Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и
 оттого известны были под общим именем Обломовки.

В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб.

Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведовал управляющий из немцев.

Вот и вся география этого уголка.

Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.

Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки; он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.

Наконец удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.

Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела его к образу.

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.

Потом шли к отцу, потом к чаю.

Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, непрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, трясая от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.

Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утирать следы непрошенных поцелуев.

После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией <...>

Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обжегал кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и надстройками и с запущенным садом.

Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку: но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только «людям», а господа не ходят.

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его.

Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она успевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего боже сохрани! - в овраг. <...>

И целый день и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, бегом: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непритворной детской ласки или смутной тоской за отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того, может быть, угасла бы давным-давно.

Не все резв, однакож, ребенок: он иногда вдруг присмирееет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.

Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи - от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.

— Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а уже будет и там светло? — спрашивал ребенок.

– Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится; а ужо как завидит издали, так и просветлеет.

Задумывается ребенок и все смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдсятеро больше настоящего, и бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрыла собой весь луг, тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать.

Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг – и он уйдет за гору.

Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна слышался голос матери:

– Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок; напечет ему головку – будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет!

– У! Баловень! – тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльцо.

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программой своей жизни по жизни, его окружающей.

Нельзя сказать, чтоб утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни. <...>

А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь.

Сам Обломов – старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе. <...>

Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.

Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки...

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали моциона, за-

ставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такую полную, муравьиною, такую заметною жизнью.

В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершала несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки и яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролитий. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячеклетней посуды.

А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом. Он видел, как после полезно и хлопотливо проведенного утра наставал полдень и обед.

Полдень знойный; на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; над деревней и полем лежит невозмутимая тишина – все как будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженьях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то все храпит, как будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном.

И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита – все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле свой пешни, и кучер спал на конюшне. <...>

Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или поворчав что-то под нос себе, опять заснет.

А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как будто боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падает опять на постель как подстреленный.

А ребенок все наблюдал да наблюдал.

Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью.

Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за резвость, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галерею.

Сама она усаживалась где-нибудь в холодке: на крыльце, на пороге поребра или просто на травке, по-видимому с тем, чтобы вязать чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой.

«Влезет, ах, того и гляди, влезет эта юла на галерею, — думала она почти сквозь сон, — или еще... как бы в овраг...»

Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук; она теряла из виду ребенка и, открыв немного рот, выпускала легкое храпенье.

А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь.

Он был как будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни; осматривал всех, кто где спит; остановится и осмотрит пристально, как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная

жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву и мучителя.

Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.

Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут добрался бы до него, не кругом, по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится: там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженьх в пятидесяти от сада; ребенок уж прибежал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана... но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.

Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях.

Между тем жара начала понемногу спадать; в природе стало все поживее; солнце уже подвинулось к лесу.

И в доме мало-помалу нарушалась тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; послышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул.

Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплавлены слезами; тот належал себе красное пятно на щеке и висках; третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.

Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.

Но вот начинается смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей: готовится ужин.

Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки.

А солнце уж опускалось за лес; оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обли-

вая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей; но и тот потух.

Предметы теряли свою форму; все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже, и та наконец свистнула слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнечики взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирела; немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Становилось все темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.

На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки.

Настали минуты всеобщей, торжественной тишины природы, те минуты, когда сильнее работает творческий ум, жарче кипят поэтические думы, когда в сердце живее вспыхивает страсть или больнее ноет тоска, когда в жестокой душе невозмутимее и сильнее зреет зерно преступной мысли, и когда... в Обломовке все почивают так крепко и покойно.

– Пойдем, мама, гулять, – говорит Илюша.

– Что ты, бог с тобой! Теперь гулять, – отвечает она, – сыро, ножки простудишь; и страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.

– Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет? – спрашивает ребенок.

И мать давала волю своей необузданной фантазии.

Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконец, сон не сморил его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель.

– Вот день-то и прошел, и слава богу! – говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. – Прожили благополучно; дай бог и завтра так! Слава тебе, господи! Слава тебе, господи!

Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жметя к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой

стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его ни с того ни с сего разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне.

Ребенок, наострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ.

Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурачке, эту злую и коварную сатиру на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих.

Взрослый Илья Ильич хотя после и узнает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка.

Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы.

И старик Обломов и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие в стереотипном издании старины, в устах нянек и дядек, сквозь века и поколения.

Няня между тем уже рисует другую картину воображению ребенка.

Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеша Поповича, о Полкане-богатыре, о Колечище прохожем, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища басурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет; потом говорила о злых разбойниках, о спящих царевнах, окаменелых городах и людях; наконец переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням.

Она с простотою и добродушием Гомера, с тою же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью картин влагала в детскую память

и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни, когда он трепетал и перед оборотнем, и перед лешим, и у Алеши Поповича искал защиты от окружающих его бед, когда и в воздухе, и в воде, и в лесу, и в поле царствовали чудеса.

Страшна и неверна была жизнь тогдашнего человека; опасно было ему выйти за порог дома: его, того гляди, заперет зверь, зарежет разбойник, отнимет у него все злой татарин, или пропадет человек без вести, без всяких следов.

А то вдруг явятся знамения небесные, огненные столпы да шары; а там, над свежей могилой, вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогуливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и сверкает глазами в темноте.

И с самим человеком творилось столько непонятного: живет-живет человек долго и хорошо - ничего, да вдруг заговорит такое непутное, или учнет кричать не своим голосом, или бродить сонный по ночам; другого ни с того ни с сего начнет коробить и бить оземь. А перед тем как сделаться этому, только что курица прокричала петухом да ворон прокаркал над крышей.

Терялся слабый человек, с ужасом озираясь в жизни, и искал в воображении ключа к тайнствам окружающей его и своей собственной природы.

А может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления. <...>

И поныне русский человек среди окружающей его строгой, лишенной вымысла действительности любит верить соблазнительным сказаниям старины, и долго, может быть, еще не отрешиться ему от этой веры.

Слушая от няни сказки о нашем золотом руне – Жар-птице, о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига, - и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца.

Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполнину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах.

Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу, – волосы ребенка трещали на голове от ужаса; детское воображение то застывало, то кипело; он испытывал мучительный, сладко болезненный процесс; нервы напрягались, как струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: «Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку прядет» и т.д.; когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на руки к няне; у него брызжут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле няни.

Заселилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром...

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, – все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст – в вертеп разбойников.

Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового.

В Обломовке верили всему: и оборотням и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, – они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое, или что такая-то Марфа или Степанида – ведьма, они будут бояться и барана и Марфы: им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал усомниться в этом, – так сильна вера в чудесное в Обломовке!

Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, и разбойников – в тюрьму; но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски.

Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть – едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.

Далее Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати.

Он уж учился в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.

У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами да плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что вот его и приласкать-то некому и никто любимого пирожка не испечет ему.

Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.

Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец отвезли.

Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлёво; ведь оно тоже было некогда Обломовкой; там, кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижною.

Ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов этого быта прежде, нежели он увидел первую книгу. А кто знает, как рано начинается развитие умственного зерна в детском мозгу? Как уследить за рождением в младенческой душе первых понятий и впечатлений?

Может быть, когда дитя еще едва выговаривало слова, а может быть, еще вовсе не выговаривало, даже не ходило, а только смотрело на все тем пристальным неммым детским взглядом, который взрослые называют тупым, оно уж видело и угадывало значение и связь явлений окружающей его сферы, да только не признавалось в этом ни себе, ни другим.

Может быть, Илюша уж давно замечает и понимает, что говорят и делают при нем: как батюшка его, в плисовых панталонах, в коричневой суконной ваточной куртке, день-деньской только и знает, что ходит из угла

в угол, заложив руки назад, нюхает табак и сморкается, а матушка переходит от кофе к чаю, от чая к обеду; что родитель и не вздумает никогда поверить, сколько копен скошено или сжато, и взыскать за упущение, а подай-ка ему не скоро носовой платок, он накричит о беспорядках и поставит вверх дном весь дом.

Может быть, детский ум его давно решил, что так, а не иначе следует жить, как живут около него взрослые. Да и как иначе прикажете решить ему? А как жили взрослые в Обломовке?

Делали ли они себе вопрос: зачем дана жизнь? Бог весть. И как отвечали на него? Вероятно, никак: это казалось им очень просто и ясно.

Не слыхивали они о так называемой многотрудной жизни, о людях, носящих томительные заботы в груди, снующих зачем-то из угла в угол по лицу земли или отдающих жизнь вечному, нескончаемому труду.

Плохо верили обломовцы и душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись, как огня, увлечения страстей; и как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего, душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи утопала в мягком теле.

Не клеймила их жизнь, как других, ни преждевременными морщинами, ни нравственными разрушительными ударами и недугами.

Добрые люди понимали ее не иначе, как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и между прочим трудом.

Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным.

Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами; оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго; мужчины в сорок лет походили на юношей; старики не боролись с трудной, мучительной смертью. а, дожив до невозможности, умирали как будто украдкой, тихо застывая и незаметно испуская последний вздох. Оттого и говорят, что прежде был крепче народ.

Да, в самом деле крепче: прежде не торопились объяснять ребенку значения жизни и готовить его к ней, как к чему-то мудреному и нешуточному; не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложут ум и сердце и сокращают жизнь. <...>

О чем же им было задумываться и чем волноваться, что узнавать, каких целей добиваться?

Ничего не нужно: жизнь, как покойная река, текла мимо их; им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представляли пред каждого из них.

И вот воображению спящего Ильи Ильича начали так же по очереди, как живые картины, открываться сначала три главные акта жизни, разыгрывавшиеся как в его семействе, так у родственников и знакомых: родины, свадьба, похороны.

Потом потянулась пестрая процессия веселых и печальных подразделений ее: крестин, именин, семейных праздников, заговенья, разговенья, шумных обедов, родственнных съездов, приветствий, поздравлений, официальных слез и улыбок. <...>

Они с бьющимся от волнения сердцем ожидали обряда, пира, церемонии, а потом, окрестив, женив или похоронив человека, забывали самого человека и его судьбу и погружались в обычную апатию, из которой выводил их новый такой же случай – именины, свадьба и т.п.

Как только рождался ребенок, первую заботой родителей было как можно точнее, без малейших упущений, справиться над ним все требуемые приличием обряды, то есть задать после крестин пир; затем начиналось заботливое ухаживанье за ним.

Мать задавала себе и няньке задачу: выходить здоровенького ребенка, беречь его от простуды, от глаза и других враждебных обстоятельств. Усердно хлопотали, чтоб дитя было всегда весело и кушало много.

Только лишь поставят на ноги молодца, то есть когда нянька станет ему не нужна, как в сердце матери закрадывается уже тайное желание приискать ему подругу – тоже поздоровее, порумянее.

Опять настает эпоха обрядов, пиров, наконец свадьба; на этом и сосредоточивался весь пафос жизни..

Потом уже начинались повторения: рождение детей, обряды, пиры, пока похороны не изменят декорации; но ненадолго: одни лица уступают место другим, дети становятся юношами и вместе с тем женихами, женятся, производят подобных себе – и так жизнь по этой программе тянется непрерывной однообразною тканью, незаметно обрываясь у самой могилы.

Навязывались им, правда, порой и другие заботы, но обломовцы встречали их по большей части с стоическою неподвижностью, и заботы, покрутившись над головами их, мчались мимо, как птицы...

Так, например, однажды часть галереи с одной стороны дома вдруг обрушилась и погребла под развалинами своими насадку с цыплятами...

В доме сделался гвалт: все прибежали, от мала до велика, и ужасну-

лись, представив себе, что вместо наседки с цыплятами тут могла прохаживаться сама барыня с Ильей Ильичом.

Все ахнули и начали упрекать друг друга в том, как это давно в голову не пришло: одному - напомнить, другому – велеть поправить, третьему – поправить.

Все дались диву, что галерея обрушилась, а накануне дивились, как это она так долго держится!

Начались заботы и толки, как поправить дело; пожалели о наседке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить к галерее Илью Ильича.

Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтоб они не лежали на дороге. Там валялись они до весны.

Старик Обломов всякий раз как увидит их из окошка, так и озаботится мыслью о поправке: призовет плотника, начнет совещаться, как лучше сделать – новую ли галерею выстроить или сломать и остатки; потом отпустит его домой, сказав: «Подь себе, а я подумаю».

Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донес барину, что вот-де, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стен и, того гляди, рухнут опять.

Тогда призван был плотник на окончательное совещание, вследствие которого решено было подпереть пока старыми обломками остальную часть уцелевшей галереи, что и было сделано к концу того же месяца.

– Э! Да галерея-то пойдет опять заново! – сказал старик жене. – Смотри-ка, как Федот красиво расставил бревна, точно колонны у предводителя в дому! Вот теперь и хорошо: опять надолго!

Кто-то напомнил ему, что вот кстати бы уж и ворота исправить и крыльцо починить, а то, дескать, сквозь ступеньки не только кошки – и свиньи пролезают в подвал.

– Да, да, надо, – заботливо отвечал Илья Иванович и шел тотчас осмотреть крыльцо.

– В самом деле, видишь ведь как, совсем распаталось, – говорил он, качая ногами крыльцо, как колыбель.

– Да оно и тогда шаталось, как его сделали, – заметил кто-то.

– Так что ж, что шаталось? – отвечал Обломов. – Да вот не развалилось же, даром что шестнадцать лет без поправки стоит. Славно тогда сделал Лука!.. Вот был плотник, так плотник... умер – царство ему небесное! Нынче избаловались: не сделают так.

И он обращал глаза в другую сторону, а крыльцо, говорят, шатается и до сих пор и все еще не развалилось...

Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость: иной раз в беде или неудобстве они очень беспокоятся, даже погорячатся и рассердятся.

Как, дескать, можно запускать или оставлять то и другое? Надо сейчас принять меры. И говорят только о том, как бы починить мостик, что ли, через канаву или огородить в одном месте сад, чтоб скотина не портила деревьев...

Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя и охая, плетень и велел садовнику поставить поскорей две жерди: плетень благодаря этой распорядительности Обломова простоял так все лето, и только зимой снегом поваляло его опять.

Наконец даже дошло до того, что на мостик настлали три новые доски, тотчас же, как только Антип свалился с него, с лошадьёю и с бочкой, в канаву. Он еще не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был заново.

Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду: они съели только смородинные кусты да принялись обдирать десятую липу, а до яблонь и не дошли, как последовало распоряжение врыть плетень как надо и даже окопать канавкой.

Снится еще Илье Ильичу большая темная гостиная в родительском доме, с ясеновыми старинными креслами, вечно покрытыми чехлами, с огромным, неуклюжим и жестким диваном, обитым полинялым голубым барханом в пятнах, и одним большим кожаным креслом.

Наступает длинный зимний вечер.

Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая по временам спицей голову.

Подле нее сидит Настасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув носы в работу, прилежно шьют что-нибудь к празднику для Илюши, или для отца его, или для самих себя.

Отец, заложив руки назад, ходит по комнате взад и вперед, в совершенном удовольствии, или присядет в кресло и, посидев немного, начнет опять ходить, внимательно прислушиваясь к звуку собственных шагов. Потом понюхает табаку, высморкается и опять понюхает.

В комнате тускло горит одна сальная свечка, и то это допускатось только в зимние и осенние вечера. В летние месяцы все старались ложиться и вставать без свечей, при дневном свете.

Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкою, обломовцы были до крайности скупы.

Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цыплят к приезду гостя, но лишней изюминки в кушанье не положат и побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина.

Впрочем, такого разврата там почти не случалось: это сделает разве сорванец какой-нибудь, погибший в общем мнении человек; такого гостя и во двор не пустят.

Нет, не такие нравы были там: гость там прежде троекратного потчеванья и не дотронется ни до чего. Он очень хорошо знает, что однократное потчеванье чаще включает в себе просьбу отказаться от предлагаемого блюда или вина, нежели отведать его.

Не для всякого зажгут и две свечи: свечка покупалась в городе на деньги и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались. <...>

Обломовцы соглашались лучше терпеть всякого рода неудобства, даже привыкали не считать их неудобствами, чем тратить деньги.

От этого и диван в гостиной давным-давно весь в пятнах, от этого и кожаное кресло Ильи Иваныча только называется кожаным, а в самом-то деле оно – не то мочальное, не то веревочное: кожи-то осталось только на спинке один клочок, а остальная уж пять лет как развалилась в куски и слезла; оттого же, может быть, и ворота все кривы и крыльцо шатается. <...>

Ничто не нарушало однообразия этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытья; а если б и смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него.

Однажды только однообразие их быта нарушилось уж подлинно нечаянным случаем.

Когда, отдохнув после трудного обеда, все собрались к чаю, вдруг пришел воротившийся из города обломовский мужик, и уж он доставал, доставал из-за пазухи, наконец насилу достал скомканное письмо на имя Ильи Иваныча Обломова.

Все обомлели; хозяйка даже изменилась немного в лице; глаза у всех устремились и носы вытянулись по направлению к письму.

– Что за диковина! От кого это? – произнесла наконец барыня, опомнившись.

Обломов взял письмо и с недоумением ворочал его в руках, не зная, что с ним делать.

– Да ты где взял? – спросил он мужика. – Кто тебе дал?

– А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, – отвечал мужик, – с пошты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков: письмо, слышь, к барину есть. <...>

– А ты бы не брал, – сердито заметила барыня.

– От кого ж бы это? – задумчиво говорил Обломов, рассматривая адрес. – Рука как будто знакомая, право!

Илья Иванович велел сыскать очки: их отыскивали часа полтора. Он надел их и уже подумывал было вскрыть письмо.

– Полно, не распечатывай, Илья Иваныч, – с боязнью установила его жена, – кто его знает, какое оно там, письмо-то? может быть, еще страшное, беда какая-нибудь. Вишь ведь народ-то нынче какой стал! Завтра или послезавтра успеешь – не уйдет оно от тебя.

И письмо с очками было спрятано под замок. Все занялись чаем. Оно бы пролежало там годы, если б не было слишком необыкновенным явлением и не взволновало умы обломовцев. За чаем и на другой день у всех только и разговора было, что о письме.

Наконец не вытерпели и на четвертый день, собравшись толпой, с смущением распечатали. Обломов взглянул на подпись.

– «Радищев», – прочитал он. – Э! Да это от Филиппа Матвейча!

– А! Э! Вот от кого! – поднялось со всех сторон. – Да как это он еще жив по сю пору? Подь ты, еще не умер! Ну, слава богу! Что он пишет?

Обломов стал читать вслух. Оказалось, что Филипп Матвеевич просит прислать ему рецепт пива, которое особенно хорошо варили в Обломовке.

– Послать, послать ему! – заговорили все. – Надо написать письмецо.

Так прошло недели две.

– Надо, надо написать! – твердил Илья Иванович жене. – Где рецепт-то?

– А где он? – отвечала жена. – Еще надо сыскать. Да погоди, что торопиться? Вот, бог даст, дождемся праздника, разговеемся, тогда и напишешь; еще не уйдет...

– В самом деле, о празднике лучше напишу, – сказал Илья Иванович.

На празднике опять зашла речь о письме. Илья Иванович собрался со всем писать. Он удалился в кабинет, надел очки и сел к столу.

В доме воцарилась глубокая тишина; людям не велено было топтать и шуметь. «Барин пишет!» – говорили все таким робко-почтительным голосом, каким говорят, когда в доме есть покойник.

Он только было вывел: «Милостивый государь», медленно, криво, дрожащей рукой и с такою осторожностью, как будто делал какое-нибудь опасное дело, как к нему явилась жена.

– Искала, искала – нету рецепта, – сказала она. – Надо еще в спальне в шкафу поискать. Да как посылать письмо-то?

– С почтой надо, – отвечал Илья Иванович.

– А что туда стоит?

Обломов достал старый календарь.

– Сорок копеек, – сказал он.

– Вот, сорок копеек на пустяки бросать! – заметила она. – Лучше подождем, не будет ли из города okazji туда. Ты вели узнавать мужикам. <...>

Неизвестно, дождался ли Филипп Матвеевич рецепта.

Илья Иванович иногда возьмет и книгу в руки – ему все равно, какую-нибудь. <...> Он смотрел на нее, как на вещь, назначенную для развлечения, от скуки и от нечего делать. <...> Он все читает с равным удовольствием, приговаривая по временам:

– Видишь, что ведь выдумал! Экой разбойник! Ах, чтоб тебе пусто было!

Эти восклицания относились к авторам – звание, которое в глазах его не пользовалось никаким уважением... Он, как и многие тогда, почитал сочинителя не иначе как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником, вроде плясуна.

А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца:

– Антипка! Закладывай пегую: барчонка к немцу везти!

Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает, отчего, и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю.

Не знают, чем и накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленья, печенья, варенья, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств и даже съестных припасов. Все это отпустилось в тех видах, что у немца не жирно кормят.

– Там не разъешься, – говорили обломовцы, – обедать-то дадут супу, да жаркого, да картофелю, к чаю масла, а ужинать-то морген фри – нос утри.

Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятною новостью:

– Сегодня не поедешь; в четверг большой праздник: стоит ли ездить взад и вперед на три дня?

Или иногда вдруг объявит ему: «Сегодня родительская неделя, – не доученья: блины будем печь».

А не то так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет:

– Что-то у тебя глаза несвежи сегодня. Здоров ли ты? – и покачает головой.

Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит.

– Посиди-ка ты эту недельку дома, – скажет она, – а там – что бог даст.

И все в доме были проникнуты убеждением, что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе, или что праздник в четверг – неодолимая преграда к ученью на всю неделю.

Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за барчонка, проворчат:

– У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?

В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке, среди или в начале недели, за Ильей Ильичом.

– Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фаддеевна гостить или Кузовковы со своими детьми, так пожалуйте домой!

И недели три Илюша гостит дома, а там, смотришь, до страстной недели уж недалеко, а там и праздник, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на фоминой неделе не учатся; до лета остается недели две не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить.

Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время! Как потолстеет! Как спит славно! Не налюбуются на него в доме, замечая, напротив, что, возвратясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен.

– Долго ли до греха? – говорили отец и мать. – Ученье-то не уйдет, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего в жизни. Вишь, он из ученья как из больницы воротится: жирок весь пропадает, жиденский такой.. да и шалун: все бы ему бегать!

– Да, – заметит отец, – ученье-то не свой брат: хоть кого в бараний рог свернет!

И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами, и кроме праздников, дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется: пьян не пьян, а как-то дико смотрит: беды бы не было, завязнет или оборвется где-нибудь.

Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица ученые свет, а неученых тьма бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами.

Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду.

Обломовы смекали и понимали выгоду образования, но только очевидную выгоду. О внутренней потребности ученья они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества.

Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором; но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословенной, в детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства.

Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штолец прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями.

Победа не решалась никак; может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы.

Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его и житье у Штольца.

Он только что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч.

Захар, как бывало нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос.

Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку.

Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоми-

нает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру, умыться и т.п.

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть – уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:

– Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!..

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя.

После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать: «Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!»

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.

Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздается в десять отчаянных голосов: «Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадет, расшибется... стой, стой!»

Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку - опять крики: «Ай, куда? Как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...»

И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.

А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или поддразнить деревенских собак; или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы.

Бесенок так и подмывает его: он крепится, крепится, наконец не вытерпит и вдруг, без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек.

Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватило радостью – он мчится, откуда ноги взялись, сам и визжит и хохочет.

Вот и мальчишки: он бац снегом – мимо: сноровки нет; только хотел

захватить еще снежку, как все лицо залепила ему целая глыба снегу: он упал; и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах...

А в доме гвалт: Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька – все бегут, растерянные, по двору.

Люди с криками, с воплями, собаки с лаем мчатся по деревне.

Наконец набежали на мальчишек и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их.

Потом уже овладели барçonком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла и торжественно принесли на руках домой.

Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим; но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописанна. Возблагодарили господу бога, потом напоили его мятой, там бузиной, к вечеру еще малиной и продержали дня три в постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки...

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ В ЛИТЕРАТУРЕ



М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (в сокращении)

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена,

что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить – это уж бог знает!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. БЭЛА

Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неумоимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана.

Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица, – а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За мою тележкую четверка быков тащила другую как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился: он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

– Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

– Вы, верно, едете в Ставрополь?

– Так-с точно... с казенными вещами.

– Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

– Вы, верно, недавно на Кавказе?

– С год, – отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

– А что ж?

– Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разберет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрягите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?... Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

– А вы давно здесь служите?

– Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче¹, – отвечал он, приосанившись. – Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, – прибавил он, – и при нем получил два чина за дела против горцев.

¹Ермолове. (Прим. Лермонтова)

– А теперь вы?..

– Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха.

Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

– Ведь этакий народ! – сказал он, – и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что оно гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русского колокольчика.

– Завтра будет славная погода! – сказал я. Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

– Что ж это? – спросил я.

– Гуд-гора.

– Ну так что ж?

– Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки – облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей. и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный

ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

– Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою, – в такую метель через горы не переедешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? – спросил он извозчика.

– Не было, господин, – отвечал осетин-извозчик, – а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

– Жалкие люди! – сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

– Преглупый народ! – отвечал он. – Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

– А вы долго были в Чечне?

– Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, – знаете?

– Слышал.

– Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

– А, чай, много с вами бывало приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством.

– Как не бывать! Бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку – желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походных стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

– Не хотите ли подбавить рому? – сказал я своему собеседнику, – у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

– Нет-с, благодарствуйте, не пью.

– Что так?

– Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собой, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка – пропавший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

– Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.

– Как же это случилось?

– Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Терекком с ротой – этому скоро пять лет. Раз, осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, – спросил я его, – переведены сюда из России?» – «Точно так, господин штабс-капитан», –

отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски... Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, – к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

– А как его звали? – спросил я Максима Максимыча.

– Его звали... Григорием Александровичем Печориним. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

– А долго он с вами жил? – спросил я опять.

– Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

– Необыкновенные? – воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

– А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим; и уж точно, избаловали мы его с Григорием Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падох был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, яман¹ будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказать, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо

¹ плохо (тюрк.)

лучшее мнение о черкешенках», – сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» – отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я штабс-капитана.

– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл как по-ихнему, ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

– А что ж такое она пропела, не помните ли?

– Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» – «Прелесть! – отвечал он. – А как ее зовут?» – «Ее зовут Бэлою», – отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было

много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, – хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена – как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, – подумал я, – уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якши тхе, чек якши!»¹

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? – подумал я, – уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

– Славная у тебя лошадь! – говорил Азамат, – если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А! Казбич!» – подумал я и вспомнил кольчугу.

– Да, – отвечал Казбич после некоторого молчания, – в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, – это было за Терекком, – я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себе аллаху и

¹Хороша, очень хороша! (тюрк.)

в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, – и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался – и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, – смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагез; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их – и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагеза; это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

– Если б у меня был табун в тысячу кобыл, – сказал Азамат, – то отдал бы тебе весь за твоего Карагеза.

– Йок¹, не хочу, – отвечал равнодушно Казбич.

– Послушай, Казбич, – говорил, ласкаясь к нему, Азамат, – ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, – а шашка его настоящая гурда²: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга – такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

¹ Нет. (тюрк)

² Гурда - название лучших кавказских клинков (по имени оружейного мастера)

– В первый раз, как я увидел твоего коня, – продолжал Азамат, когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! – сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

– Послушай! – сказал твердым голосом Азамат, – видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом – чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь, дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, – и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса:

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз.
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.¹

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

– Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

¹Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой: но привычка - вторая натура. (Прим. Лермонтова.)

– Меня? – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» – подумал я, кинулся в конюшню, взнуздав лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья – и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь пашкой.

– Плохое дело в чужом пиру похмелье, – сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку, – не лучше ли нам поскорей обратиться?

– Да погодите, чем кончится.

– Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! – Мы сели верхом и ускакали домой.

– А что Казбич? – спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

– Да что этому народу делается! – отвечал он, допивая стакан чая, – ведь ускользнул!

– И не ранен? – спросил я.

– А бог его знает! Живуци, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает пашкой. – Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

– Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, – такой хитрый! – а сам задумал кое-что.

– А что такое? Расскажите, пожалуйста.

– Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, – ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

– Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

– Все, что он захочет, – отвечал Азамат.

– В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

– Клянусь... Клянись и ты!

– Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагез будет тебе калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

– Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

– А мой отец? – сказал он.

– Разве он никогда не уезжает?

– Правда...

– Согласен?..

– Согласен, – прошептал Азамат, бледный как смерть. – Когда же?

– В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов: остальное – мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что – Казбич разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

– Азамат! – сказал Григорий Александрович, – завтра Карагез в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

– Хорошо! – сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, – только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

– А лошадь? – спросил я у штабс-капитана.

– Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком¹.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице – и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье.

– Что с тобой? – спросил я.

– Моя лошадь!.. лошадь!.. – сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

– Нет! Урус яман, яман! – заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль – Азамат скакал на лихом Карагезе; на бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости – он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов – он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

– Что ж отец?

– Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

¹Кунак - значит приятель. (Прим. Лермонтова)

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, – только он притворялся, будто не слышит.

– Господин прапорщик! – сказал я как можно строже. – Разве вы не видите, что я к вам пришел?

– Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? – отвечал он, не приподнимаясь.

– Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

– Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

– Я все знаю, – отвечал я, подошед к кровати.

– Тем лучше: я не в духе рассказывать.

– Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который я могу отвечать...

– И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

– Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

– Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

– Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

– Что нехорошо?

– Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, – сказал я ему.

– Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

– Вовсе не надо!

– Да он узнает, что она здесь?

– А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

– Послушайте, Максим Максимыч! – сказал Печорин, приподнявшись, – ведь вы добрый человек, – а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

– Да покажите мне ее, – сказал я.

– Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, – прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно согласиться.

– А что? – спросил я у Максима Максимыча, – в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачала в неволе, с тоски по родине?

– Помилуйте, отчего же с тоски по родине. Из крепости видны были те же горы, что из аула, – а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены, шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

– Послушай, моя пери, – говорил он, – ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, – отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой. – Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. – Или, – продолжал он, – я тебе совершенно ненавистен? – Она вздохнула. – Или твоя вера запрещает полюбить меня? – Она побледнела и молчала. – Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? – Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. – Послушай, милая, добрая Бэла! – продолжал Печорин, – ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его целовала; она слабо защищалась и

только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

– Я твоя пленница, – говорила она, – твоя раба; конечно ты можешь меня принудить, – и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

– Что, батюшка? – сказал я ему.

– Дьявол, а не женщина! – отвечал он, – только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

– Хотите пари? – сказал он, – через неделю!

– Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

– Как вы думаете, Максим Максимыч! – сказал он мне, показывая подарки, – устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

– Вы черкешенок не знаете, – отвечал я, – это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны. – Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее – да и только; так что он решил на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэла! – сказал он, – ты знаешь, как я тебя люблю. Я решил тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, – ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду – куда? почему я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». – Он отвернулся и протянул ей руку на прощание. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль – такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал – и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в

самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так – глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

– Да, признаюсь, – сказал он потом, теребя усы, – мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

– И продолжительно было их счастье? – спросил я.

– Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

– Как это скучно! – воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. – Да неужели, – продолжал я, – отец не догадался, что она у вас в крепости?

– То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

– Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере, я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, – это было в сумерки, – он ехал задумчиво шагом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья – и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

– Он вознаградил себя за потерю коня и отомстил, – сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

– Конечно, по-ихнему, – сказал штабс-капитан, – он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разодранного занавеса;

мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно прилиwała в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространялось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда, и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитый в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурей; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

– Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? – сказал я ему.

– Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

– Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

– Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, – прибавил он, указывая на восток, – что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вддали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, – и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, – воскликнул он, – что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» – закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягнув заранее уносных, – а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», – и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую

гору (или, как называет ее ученый Гамба, le mont St.-Christophe)¹ достоин вашего любопытства. Итак, мы спустились с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, – не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества.



Картина М.Лермонтова. Крестовый перевал. 1837-1838.

– Вот и Крестовая! – сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом; наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под

¹ «...как называет ее ученый Гамба, le mont St.-Christophe» - французский консул в Тифлисе Жак-Франсуа Гамба в книге о путешествии по Кавказу ошибочно назвал Крестовую гору горой святого Кристофа.

ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору – две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил Император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось, что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Куби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, – думал я, – плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

– Плохо! – говорил штабс-капитан; – посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трупобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки – никак нельзя положиться!

Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.

– Ваше благородие, – сказал наконец один, – ведь мы нынче до Куби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется – верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку, – прибавил он, указывая на осетина.

– Знаю, братец, знаю без тебя! – сказал штабс-капитан, – уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

– Признайтесь, однако, – сказал я, – что без них нам было бы хуже.

– Все так, все так, – пробормотал он, – уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы и свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоящего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурей.

– Все к лучшему! – сказал я, присев у огня, – теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.

– А почему ж вы так уверены? – отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою...

– Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

– Ведь вы угадали...

– Очень рад.

– Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а заpastись женой не догадался раньше, – так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! видал я наших губернских барышень, я раз был-с и в Москве в благородном собрании, лет двадцать тому назад, – только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

– А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

– Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, – а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, – целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо, – подумал я, верно между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним – как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

– А где Печорин? – спросил я.

– На охоте.

– Сегодня ушел? – Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

– Нет, еще вчера, – наконец сказала она, тяжело вздохнув.

– Уж не случилось ли с ним чего?

– Я вчера целый день думала, – отвечала она сквозь слезы, – придумывала разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

– Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! – Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

– Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его – я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать.

– Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, – ходит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

– Правда, правда! – отвечала она, – я буду весела. – И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, ходили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный; с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой – бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе и, наконец, остановился по ту

сторону речки, саженьях во сте от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

– Посмотри-ка, Бэла, – сказал я, – у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Она взглянула и вскрикнула:

– Это Казбич!..

– Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? – Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда.

– Это лошадь отца моего, – сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! – подумал я, – и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

– Подойди-ка сюда, – сказал я часовому, – осмотри ружье да ссади мне этого молодца, – получишь рубль серебром.

– Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...

– Прикажи! – сказал я, смеясь...

– Эй, любезный! – закричал часовой, махая ему рукой, – подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры, – как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, – только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стремянах, крикнул что-то по-своему, пригрозил нагайкой – и был таков.

– Как тебе не стыдно! – сказал я часовому.

– Ваше высокоблагородие! умирать отправился, – отвечал он, – такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

– Помилуйте, – говорил я, – ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась – он мне сам говорил, – и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно, бы посватался...

Тут Печорин задумался. «Да, – отвечал он, – надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменялся к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и

она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь:

«О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» – «Нет!» – «Тебе чего-нибудь хочется?» – «Нет!» – «Ты тоскуешь по родным?» – «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение – только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, – но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться – науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями – напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимание на комаров, – и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, – только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави боже! – поеду в Америку, в Аравию, в Индию, – авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных

дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, – продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне. – Вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужели тамошная молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

– А все, чай, французы ввели моду скучать?

– Нет, англичане.

– А-га, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

– Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собой. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, – нет зверя. «Эй, не воротиться ли? – говорил я, – к чему упрямитесь? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи, таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день! Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распутив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опряметью поскакали мы на выстрел – смотрим: на валу солдаты собрались в кучу и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на

седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла – и туда; я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...



Казбич и Бэла. Художник В.Г. Бехтеев. 1939

Казбич и Бэла.
Худ. В. Бахтеев

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! – кричу я ему. – берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрую... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда – да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь

лилась из раны ручьями... Такой злодей; хоть бы в сердце ударил – ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Печорин целовал ее холодные губы – ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не доведем живую». – «Правда!» – сказал я, и мы

пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

– Выздоровела? – спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

– Нет, – отвечал он, – а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

– Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

– А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, – цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать, часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

– Да зачем Казбич ее хотел увезти?

– Помилуйте, да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и ненужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

– И Бэла умерла?

– Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. – «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», – отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» – сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою – не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что

она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменялась в этот день! бледные щеки впали, глаза сделались большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежала раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбивала перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте, – говорил я ему, – ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» – «Все-таки лучше, Максим Максимыч, – отвечал он, – чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна – но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати – ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда – признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» – говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а кажется, я ее любил как отец... ну да бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам – гладко!.. Я вывел Печорина

вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью, у реки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

– А что Печорин? – спросил я.

– Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в Е...й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались, да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже – вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел речь о Бэле и о Печорине.

– А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем? – спросил я.

– С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Куби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

II. МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которые решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправляться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которыми ходят обозы через Кабарду из Владыкавказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается все шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатую стеной горы, из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он был явно балованный слуга ленивого барина – нечто вроде русского Фигаро.

– Скажи, любезный, – закричал я ему в окно, – что это – оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший подле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

– Слава Богу! – сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. – Экая чудная коляска! – прибавил он, – верно какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть английскую!

– А кто бы это такое был – пойдете-ка узнать...

Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

– Послушай, братец, – спросил у него штабс-капитан, – чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. – Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: – Я тебе говорю, любезный...

– Чья коляска?.. моего господина...

– А кто твой господин?

– Печорин...

– Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. – воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

– Служил, кажется, – да я у них недавно.

– Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, – прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

– Позвольте, сударь, вы мне мешаете, – сказал тот, нахмурившись.

– Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где же он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

– Да не зайдет ли он вечером сюда? – сказал Максим Максимыч, – или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

– Ведь сейчас прибежит!.. – сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, – пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаться, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.

– Максим Максимыч, не хотите ли чаю? – закричал я ему в окно.

– Благодарствуйте; что-то не хочется.

– Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

– Ничего; благодарствуйте...

– Ну, как угодно! – Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик:

– А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, – да я все ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, – он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы спокойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, взойдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

– Не клопы ли вас кусают? – спросил я.

– Да, клопы... – отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту, – сказал он, – так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчишки-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня; я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и поворотил в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, избличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно спитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен удобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость: он сидел, как сидит бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему

более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные – признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб закончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! – Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полупущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различное впечатление; но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

– Если вы захотите еще немного подождать, – сказал я, – то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

– Ах, точно! – быстро отвечал он, – мне вчера говорили: но где же он? – Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел

кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

– Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживаете? – сказал Печорин.

– А... ты?.. а вы? – пробормотал со слезами на глазах старик... – сколько лет... сколько дней... да куда это?..

– Еду в Персию – и дальше...

– Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

– Мне пора, Максим Максимыч, – был ответ.

– Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что поддельвали?..

– Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь.

– А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

– Да, помню! – сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

– Мы славно пообедаем, – говорил он, – у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?

– Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... – прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

– Забыть! – проворчал он, – я-то не забыл ничего... Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

– Ну полно, полно! – сказал Печорин, обняв его дружески, – неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться, – бог знает!.. – Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

– Постой, постой! – закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, – совсем было позабыл... У меня остались ваши бумаги,

Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

– Что хотите! – отвечал Печорин. – Прощайте...

– Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. – кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, – а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.



Максим Максимыч провожает Печорина. Худ. Н.Дубовский

– Да, – сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах, – конечно, мы были приятели, – ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. – Эти слова были

произнесены с иронической улыбкой. – Скажите, – продолжал он, обратясь ко мне, – ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветренный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забывает!.. – Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

– Максим Максимыч, – сказал я, подошедши к нему, – а что это за бумаги вам оставил Печорин?

– А бог его знает! какие-то записки...

– Что вы из них сделаете?

– Что? а велю наделать патронов.

– Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с

презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

– Вот они все, – сказал он, – поздравляю вас с находкою...

– И я могу делать с ними все, что хочу?

– Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей... А мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия; я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

– А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

– Нет-с.

– А что так?

– Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи...

– Да ведь вы же были у него?

– Был, конечно, – сказал он, заминаясь – да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для собственной надобности, говоря языком бумажным, – и как же он был награжден!

– Очень жаль, – сказал я ему, – очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

– Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

– Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

– Да я, знаете, так, к слову говорю: а впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею! Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но

зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

ЖУРНАЛ ПЕЧОРИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменял все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? – Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» – скажут они. – Не знаю.

І. Тамань

Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще в добавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок, – только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря.



Тамань. Рисунок М.Лермонтова.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-

синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина – молчат; стучу – молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» – «Нема». – «Как? совсем нету?» – «Совсим». – «А хозяйка?» – «Побигла в слободку». – «Кто же мне отопрет дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с небольшим сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» – спросил я его наконец. – «Ни». – «Кто же ты?» – «Сирота, убогой». – «А у хозяйки есть дети?» – «Ни; была дочь, да утикла за море с татаринном». – «С каким татаринном?» – «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю его мебель. На стене ни одного образа – дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставил в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда. Я не мог полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел, и повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», – подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет, но видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

- Что, слепой? – сказал женский голос, – буря сильна. Янко не будет.
- Янко не боится бури, – отвечал тот.
- Туман густеет, – возразил опять женский голос с выражением печали.
- В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, – был ответ.
- А если он утонет?
- Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня, однако поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

– Видишь, я прав, – сказал опять слепой, ударив в ладоши, – Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; это не вода плещет, меня не обманешь, – это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

– Ты бредишь, слепой, – сказала она, – я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдаль что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот

показалась между горами волн черная точка; она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольном биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невреждена. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но, увы; комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все – или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через три, четыре придет почтовое судно, сказал комендант, – и тогда – мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

– Плохо, ваше благородие! – сказал он мне.

– Да, брат, Бог знает когда мы отсюда уедем! – Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

– Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком – был прошлого года в отряде, как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно, здесь к этому привыкли.

– Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяйка?

– Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

– Какая дочь? У нее нет дочери.

– А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глухая, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, – сказал я, взяв его за ухо, – говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; передо мной тянулось ночью бурей взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающегося города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, – но откуда?.. Прислушиваюсь – напев старинный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь – никого нет кругом; прислушиваюсь снова – звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами, настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке –
По зелену морю,
Ходят все кораблики
Белопарусники.
Промеж тех корабликов
Моя лодочка,
Лодка неснащенная,
Двухвесельная.
Буря ль разыграется –
Старые кораблики
Приподымут крылышки,

По морю размечутся.
Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Уж не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:
Везет моя лодочка
Вещи драгоценные.
Правит ею в темну ночь
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там уж не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, пощелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундина: поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою пронизательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит Юной Франции. Она, то есть порода, а не Юная Франция¹, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос – все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то

¹Юная Франция - группа молодых французских писателей романтического направления (30-е годы XIX века).

неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гетеву Миньону¹, это причудливое создание его немецкого воображения, – и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни.

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор.

– «Скажи-ка мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на кровле?» – «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда ветер, оттуда и счастье». – «Что же? разве ты песнею зазывала счастье?» – «Где поется, там и счастливится». – «А как неравно напоешь себе горе?» – «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко». – «Кто же тебя выучил эту песню?» – «Никто не выучил; вздумается – запою; кому услышать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». – «А как тебя зовут, моя певунья?» – «Кто крестил, тот знает». – «А кто крестил?» – «Почему я знаю?» – «Экая скрытная! а вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевелила губами, как будто не об ней дело). «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее – нимало! Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете, так держите под замочком». – «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» – и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние мои слова были вовсе не у места, я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смеркалось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я заканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, – то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил на ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала меня надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом,

¹ Гетева Миньона - герония романа Гете «Ученические годы Вильгельма Майстера»

то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», – и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экой бес-девка!» – закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, – сказал я ему, – то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» – сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», – сказала моя спутница; я колебался, я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступить было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» – сказал я сердито. «Это значит, – отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, – это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хват за пояс – пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову!.. Оглядываюсь – мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу ее оттолкнуть от себя – она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» – закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел, – отвечала она, – ты донесешь!» – и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды: минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но стрижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, – сказала она, – все пропало!» Потом разговор их продолжался так тихо, что я ничего не мог слышать. «А где же слепой?» – сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», – был ответ. Через несколько минут явился и слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

– Послушай, слепой! – сказал Янко, – ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не слышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! – После некоторого молчания Янко продолжал: – Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажила, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

– А я? – сказал слепой жалобным голосом.

– На что мне тебя? – был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». – «Только?» – сказал слепой. – «Ну, вот тебе еще», – и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер

дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал парус между темных волн; слепой мальчик точно плакал, долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, пашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал – подарок приятеля – все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что случилось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (Окончание журнала Печорина)

II. КНЯЖНА МЕРИ

11-го мая.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром

громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбурсом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синее – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

<...>

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст до Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято – вероятно, проезжим казаком, – и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

III. ФАТАЛИСТ

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С*** очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи pro или contra.

– Все это, господа, ничего не доказывает, – сказал старый майор, –

ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми подтверждаете свои мнения?

– Конечно, никто, – сказали многие, – но мы слышали от верных людей...

– Все это вздор! – сказал кто-то, – где эти верные люди, видевшие список, на котором назначен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал, и медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, – которых прелесть трудно достигнуть, не видав их, он никогда не волочил. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все, и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» – кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», – отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью, карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

– Семерка дана! – закричал он, увидав его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вытеснять из лесу неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный

долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

– Господа! – сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), – господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

– Не мне, не мне! – раздалось со всех сторон, – вот чудак! придет же в голову!..

– Предлагаю пари! – сказал я шутя.

– Какое?

– Утверждаю, что нет предопределения, – сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев – все, что было у меня в кармане.

– Держу, – отвечал Вулич глухим голосом. – Майор, вы будете судьей; вот пятнадцать червонцев, остальные пять вы мне должны, и сделайте мне дружбу прибавить их к этим.

– Хорошо, – сказал майор, – только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?..

Вулич вышел молча в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали; но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

– Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! – закричали ему.

– Господа! – сказал он медленно, освобождая свои руки, – кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов,

есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

– Вы нынче умрете! – сказал я ему.

Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

– Может быть, да, может быть, нет... Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

– Да полно, Вулич! – закричал кто-то, – уж, верно, заряжен, коли в головах висел, что за охота шутить!..

– Глупая шутка! – подхватил другой.

– Держу пятьдесят рублей против пяти, что пистолет не заряжен! – закричал третий.

Составились новые пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

– Послушайте, – сказал я, – или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдете спать.

– Разумеется, – воскликнули многие, – пойдете спать.

– Господа, я вас прошу не трогаться с места! – сказал Вулич, приставя дуло пистолета ко лбу. Все будто окаменели.

– Господин Печорин, прибавил он, – возьмите карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось; все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу, который, трепеща на воздухе, опускался медленно; в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил курок... осечка!

– Слава Богу! – вскрикнули многие, – не заряжен...

– Посмотрим, однако ж, – сказал Вулич. Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался – дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине и пуля глубоко засела в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить. Вулич пересыпал в свой кошелек мои червонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно, полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

– Вы счастливы в игре, – сказал я Вуличу...

– В первый раз от роду, – отвечал он, самодовольно улыбаясь, – это

лучше банка и штосса.

– Зато немножко опаснее.

– А что? вы начали верить предопределению?

– Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

– Однако же довольно! – сказал он, вставая, пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... – Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным – и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампы, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастья, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем, я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало

мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительное, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею, но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь – месяц уж светил прямо на дорогу – и что же? предо мною лежала свинья, разрубленная пополам пашкой... Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка, один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

– Экой разбойник! – сказал второй казак, – как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», – сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечку и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уж восток начинал бледнеть, когда я заснул, но – видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не выплусь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» – кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что

случилось?» – сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

– Что?

– Вулич убит.

Я остолбенел.

– Да, убит, – продолжали они, – пойдем скорее.

– Да куда же?

– Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице: на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» – «Тебя!» – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станицы. Мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди их бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выразившее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отважился броситься первым. Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная шашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде и сказал майору, что напрасно он

не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

– Согрешил, брат Ефимыч, – сказал есаул, – так уж нечего делать, покорись!

– Не покорюсь! – отвечал казак.

– Побойся Бога. Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

– Не покорюсь! – закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

– Эй, тетка! – сказал есаул старухе, – поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

– Василий Петрович, – сказал есаул, подойдя к майору, – он не сдастся – я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

– Погодите, – сказал я майору, – я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить, и броситься мне на помощь при данном знаке, я обошел хату и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

– Ах ты окаянный! – кричал есаул. – что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? – Он стал стучать в дверь изо всей силы, я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, – и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти пашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки; казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли – точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает

решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

– Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них – просто мое почтение!

Потом он примолвил, несколько подумав:

– Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано...

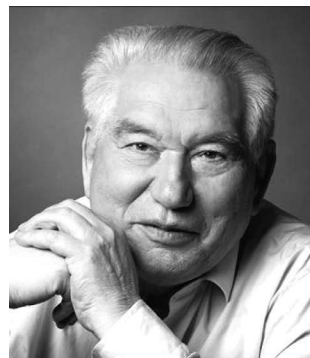
Ч.Т. Айтматов

ПЛАХА **(Фрагменты глав романа)**

АКБАРА И ТАШЧАЙНАР

Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, пятясь в темень расщелины, сжалась, как пружина, вздыбив загривок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, – ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.

В горах иное дело – здесь всегда можно ускакать, всегда найдется где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже



знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки – и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.

На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк – Ташчайнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар – Камнедробитель, – прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.

И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явственно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своем такую же живую ношу – то давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока что понародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.

Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось – его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность – потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших до красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он, угрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее, и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгораясь от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначалу и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.

В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки – отвратительным духом бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в

плечо и в наказание заставила ковылять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре.

Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью, сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и беспокойно вели себя еще не народившиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.

Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она не столько за себя, сколько за тех, которые ожидалась вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.

Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разнились от их местных собратьев. Первое – отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза – редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару – Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.

Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Попервоначалу пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений, перебивались

как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенные людьми, но к местным стаям так и не пристали – слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.

Всему судия – время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.
<...>

И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, – надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые и несчастные, – оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне, – мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой – быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить это. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, – всего лишь небольшой остров на Азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца,

закрашенное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее насаждают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов прокорма, наступают каналы и дороги, прокладываемые в пограничных зонах в связи с непосредственной близостью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все более настойчиво, долговременно вторгаются все более технически вооруженные люди на колесах и моторах, с радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгаются не ученые, совершающие самоотверженные открытия, коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и посильное почти любому и каждому. И тем более обитателям уникальной Моюнкумской саванны не дано было знать, что в самых обычных для человечества вещах таится источник добра и зла на земле. И что тут все зависит от самих людей – на что направят они эти самые обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо, на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были четвероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими существами, хотя они так и не разгадали при этом извечной загадки: отчего зло почти всегда побеждает добро. <...>

В этих краях и слагалась судьба новой волчьей пары – Акбары и Ташчайнара, а к тому времени – что самое важное в жизни животных – они уже имели своих тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произведенных на свет Акбарой той памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине под размытым комлем старого саксаула, близ полувysохшей тамарисковой рощицы, куда удобно было выводить волчат на обучение. Волчата уже держали стоймя уши, обретали каждый свой нор, хотя при играх между собой их уши снова по-щенячьи топырились, да и на ногах чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще увязывались они следом за родителями в малые и большие вылазки.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

В то раннее утро Акбара повела свой выводок на дальнюю окраину Моюнкумской саванны, где на степных просторах, особенно по глухим падам и буеракам, произрастали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похожим, привораживающим запахом. Если долго бродить среди того высокого травостоя, вдыхая пыльцу, то вначале наступает ощущение

необыкновенной легкости в движениях, чувство приятного скольжения над землей, а затем появляется вялость в ногах и сонливость. Акбара помнила эти места еще с детства и наведывалась сюда раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пути на мелкую степную живность, она любила слегка попьануть в больших травах, повалиться в жарком настое травяного духа, почувствовать парение в беге и потом заснуть.

В этот раз они с Ташчайнаром были уже не одни: за ними следовали волчата – трое нескладно длинноногих щенков. Молодняку надлежало как можно больше узнавать в походах окрестности, осваивать сызмальства будущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на ознакомление волчица, были на краю тех владений, дальше простирался чужой мир, там могли встретиться люди, оттуда, с той неоглядной стороны, доносились порой протяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гудки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот край саванны, шли они, ведомые Акбарой.

За Акбарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носились от избытка энергии и все норовили выскочить вперед, но волчица-мать не давала им своевольничать – она строго следила, чтобы никто не смел ступить на тропу впереди нее.

Места шли вначале песчаные – в зарослях саксаула и пустынной долины, солнце всходило все выше, обещая, как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье семейство прибыло к краю саванны. Прибыло в самый раз – засветло. Травы в этом году были высоки – почти по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на жарком солнце, невзрачные соцветья на мохнатых стеблях источали сильный запах, особенно в местах сплошных зарослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке, волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг, принюхиваясь и присматриваясь ко всему, что привлекало их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось бы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напоены – по пути удалось схватить несколько жирных сурков да зайцев и разорить много всяких гнезд, жажду же утолили в родничке на дне попутного оврага, – но одно чрезвычайное происшествие заставило их срочно покинуть это место и повернуть восвояси, к логову в глубине саванны. Уходили всю ночь.

А случилось то, что уже на закате, когда Акбара и Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, растянулись в тени кустов, неподалеку вдруг раздался человеческий голос. Прежде человека увидели волчата, игравшие наверху овражка. Звереныши не подозревали да и

не могли предполагать, что неожиданно появившееся здесь существо – человек. Некий субъект почти голый – в одних плавках и кедах на босу ноги, в некогда белой, но уже изрядно замызганной панаме на голове – бегал по тем самым травам. Бегал он странно – выбирал густые поросли и упорно бегал между стеблями взад-вперед, точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале притаились, недоумевая и побаиваясь, – такого они никогда не видели. А человек все бегал и бегал по травам, как сумасшедший. Волчата осмелели, любопытство взяло верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бегающим как заводной, невиданным, голокожим двуногим зверем. А тут и сам человек приметил волчат. И что самое удивительное – вместо того чтобы насторожиться, подумать, отчего вдруг здесь оказались волки, – этот чудака пошел к волчатам, ласково протягивая руки.

– Смотри-ка, что это? – приговаривал он, тяжело дыша и отирая пот с лица. – Никак волчата? Или это мне почудилось от кружения? Да нет, трое, да такие пригожие, да такие большие уже! Ах вы мои звереныши! Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? Меня-то нелегкая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этой проклятой травы? Ну идите, идите ко мне, не бойтесь! Ах вы дурашливые мои зверики!

Неразумные волчата и в самом деле поддались на его ласки. Виляя хвостиками, игриво прижимаясь к земле, они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним наперегонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица в мгновение оценила опасность положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло. Уже на бегу Акбара почему-то переменяла свое намерение. Она перескочила через человека – голого и беззащитного, – которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и отесняя к оврагу, и тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде человека, куснула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока исчезли...

И тут только тот голый и нелепый тип спохватился, бросился бежать... И долго бежал по степи, не оглядываясь и не переводя дыхания...

То была первая нечаянная встреча Акбары и ее семейства с человеком... Но кто мог знать, что предвещала эта встреча...

АВДИЙ И ХУНТА

Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу сынтегрировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них был человеком семейным, хотя, по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от других, – словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказались людьми поразительно однозначными. По крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы...

Прежде всего это были люди бездомные, перекати-поле, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а следовательно, были по большей части озлоблены на мир. Исключением мог считаться разве что самый молодой из них со странным, ветхозаветным именем Авдий – упоминался такой в Библии в Третьей Книге Царств, – сын дьякона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию как подающий надежды отпрыск церковного служителя и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове МАЗа со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта на корабле.

Все они, за исключением Авдия, были завзятыми или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже, чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха – ему-то что, скитальцу, ан нет, тоже заартачился, не стал пить, чем вызвал еще большую ненависть Обера.

Обер – так для краткости велел он именовать себя подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, наверно, что слово это означало старший,

а он и в самом деле до разжалования был старшиной дисциплинарного батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели сокрушались, что он-де погорел за служебное усердие, так же считал и он сам, глубоко задетый в душе несправедливостью начальства, однако о подлинной причине изгнания своего из армии предпочитал не распространяться. Да и ни к чему это было, дело прошлое. В действительности фамилия Обера была Кандалов, а изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не волновало – Обер он и есть обер в полном смысле этого слова.

Вторым лицом в этой хунте – а хунтой они окрестили свою команду с общего согласия, – единственным, кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист областного драматического театра: «Ну ее к шутам, хунту, не люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляемся на сафари, пусть мы будем сафарой!» – но к его предложению никто не присоединился, возможно, малопонятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной «хунты», – так вот вторым лицом хунты оказался некто Мишаш, а если полностью – Мишка-Шабашник, тип, надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать куда подальше даже самого Обера. Привычка Мишаша приговаривать по каждому поводу «бля» была для него что вдох, что выдох. Идею связать и бросить Авдия в кузов машины подал именно он. Что и было незамедлительно проделано хунтой.

Самое скромное место в этой хунте занимал артист Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший со сцены и перебивавшийся случайными заработками, а тут как раз подвернулась такая пожива – кидай за ноги в кузов каких-то то ли антилоп, то ли сайгаков, какая ему разница, и получай столько, сколько за месяц не заработаешь, и вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет отчислений от всего подряда, – ящик водки на всю братию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди них – местный малый из ближайших моюнкумских окрестностей, Узюкбай, или попросту – Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто лишен самолюбия, все, что ни скажи ему, на все согласен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный полюс. Краткая история Аборигена-Узюкбая сводилась к следующему. Прежде был трактористом, потом стал беспробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб человек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем временем от него ушла, и он очутился в городе в качестве неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге, выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что ему было

оглядываться... Оберу-Кандалову нельзя было отказать – он действительно обладал социально ориентированным нюхом...

Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне...

И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное – благоразумней, чем Авдий, сын покойного дьякона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий – а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами-богословами юношей, – тогда Оберу-Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства.

Если бы да кабы... Однако кто мог знать, что такое произойдет. Если бы знать наперед... Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд – отправиться за компанию подзаработать. Это же все равно что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубней предстояло собирать убитых на облаве животных... Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий – чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу-Кандалову очень хотелось выпить, что называется, ударить по-черному, а он здорово это умел – полстакана залпом, потом еще и еще полстакана, оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить... и тогда дать по мозгам... Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжело будет потом...

И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову! И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах,

предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда...

Изгнанный из духовной семинарии как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на страницы газеты его несколько непривычные размышления безусловно привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ранний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной взаимонеприемлемости: с одной стороны – неподвластные времени, тысячелетние неизменные пасхальные концепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны – в корне отвергающая религию как таковую могучая логика научного атеизма. А он, несчастный, между ними был все равно как между жерновами. И, однако, в нем горел свой огонь. Обуреваемый собственными идеями «развития во времени категории Бога в зависимости от исторического развития человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что рано или поздно судьба предоставит ему возможность приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как он полагал, все идет к тому, что людям и самим захочется узнать о своих отношениях с Богом в постиндустриальную эпоху, когда могущество человека достигнет наикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой свободы мысли официальное богословие не простило

ему, и, когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины епархии изгнали его из духовной семинарии.

У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело; как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем, если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостное выражение. Серые навывкате глаза его лихорадочно поблескивали, в них выражался непокой духа и мысли, который был присущ его натуре, что приносило ему великую отраду от собственных постижений, а также многие тяжкие страдания от окружающих людей, к которым он шел с добром...

Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках, в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и старую меховую шапку, еще отцовскую. Таким он и появился в Моюнкумской саванне...

И то, что он валялся в тот час связанный в кузове машины, наводило его на разные горькие мысли. Но острее всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему припомнилось полузабытое изречение какого-то восточного поэта: И среди тысячной толпы – ты одинок, и находясь с собой наедине – ты одинок. И тем горше и мучительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых пор стала самым близким существом на свете, постоянно сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собственной сути, – и в этот час он не мог отделить ее от себя, не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и если действительно существует телепатия как сверхчувственное общение близких натур в особо напряженном состоянии, она непременно должна была в ту ночь испытывать странное томление духа и предощущение беды...

Теперь ему наконец открылась справедливость парадоксальных слов все того же восточного поэта, над которыми он прежде посмеивался, не верил, что можно утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно любить предрасположен...» Что за чушь! А теперь он тихо плакал, думая о ней, сознавая, что, не зная он о ее существовании, не любил ее так затаенно и отчаянно, как собственную жизнь перед смертью, не было бы этой неутраченной боли, этой тоски, этого неодолимого, безумного и мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться, освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на ту затерянную в трансконтинентальной протяженности железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться, как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничном домике на границе великих пустынь, в котором она живет... Но не в силах освободиться, Авдий проклинал свою, возможно, и

ненужную ей преданность – ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз в эти азиатские края, очутился здесь, в Моюнкумах, где и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный. Но его чувства к ней были тем острее, чем неосуществимей было желание видеть ее, тем мучительнее было сознание одиночества, и чувства эти открывали ему вместе с тем и всю благодать слияния с Богом, ибо теперь ему открылось, что Бог, являя себя через любовь, дарует тем самым человеку наивысшее счастье бытия, и щедрость Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а предназначение любви неповторимо в каждом случае и в каждом человеке...

– Слава Всевышнему! – прошептал он, глядя на луну, и подумал: «Если бы она знала, как велика божья милость, когда он вселяет в сердце любовь...»

И тут возле машины раздались шаги, и кто-то, сопя и рыгая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним показалась и голова Кепа. Кажется, они уже успели поддать – резко шибануло в нос водкой.

– Ты что, бля, лежишь? А ну давай поднимайся, сука-поп, Обер требует тебя на ковер, перевоспитывать будет, – говорил Мишаш, как медведь в берлоге, продвигаясь через сайгачьи туши в машине.

Кепа, хихикая, в свою очередь добавил:

– Ковра не будет, на собственной заднице, на землеце моюнкумской посидишь.

– Ковер ему еще, – пробасил Мишаш, отрывивая, – да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал, чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля, нарвался! <...>

СМЕРТЬ АВДИЯ

И теперь они творили над Авдием Каллистратовым суд. Пятеро заядлых алкоголиков – Обер-Кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Если точнее, то Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай только при сем присутствовали и пытались, правда робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд.

А дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это послужило поводом для расправы. Облава на моюнкумских сайгаков на него так страшно подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу, агитировал Гамлета-

Галкина и Узюкбая присоединиться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о Всеблаготворце и будет уповать на Его безграничное милосердие, будет молить прощения за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их.

Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться.

В своем неистовстве он был нелеп и смешон, он вопил и метался, точно в предчувствии конца света, – ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть.

Он хотел обратиться к Богу тех, кто прибыл сюда за длинным рублем... Хотел остановить колоссальную машину истребления, разогнавшуюся на просторах моюнкумской саванны, – эту всеокрушающую механизированную силу...

Хотел одолеть неодолимое...

И тогда по совету Мишаша его скрутили веревками и бросили в кузов грузовика прямо на туши убитых сайгаков.

– Лежи там, бля, и подыхай. Нюхни сайгачьего духу! – крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. – Зови теперь своего бога! Может, он, бля, тебя услышит и спустится к тебе с неба...

Стояла ночь, и луна взошла над Моюнкумской саванной, где прокатилась кровавая облава и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира...

Крушители же, за исключением Авдия Каллистратова, на беду свою очутившегося в тот день в Моюнкумах, единодушно торжествовали...

И за это его собирались судить... <...>

Стащив Авдия с кузова, Мишаш и Кепа приволокли его к Оберу и силой заставили встать перед ним на колени. Обер-Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув полы коробящегося плаща и широко растопырив ноги в кирзовых сапогах. Освещенный светом подфарников, он казался неестественно громадным, насупленным, до крайности зловещим. Сбоку, возле костерка, все еще пахнущего подгорелым шашлыком из свежей сайгачатины, стояли, поеживаясь, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Они уже были изрядно под хмельком и оттого в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукались, подталкивая друг друга и перемигиваясь.

– Ну что? – изрек наконец Обер, презрительно взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях. – Ты подумал?

– Развяжите руки, – сказал Авдий.

– Руки? А почему они у тебя связаны, ты об этом подумал? Ведь руки связывают только мятежникам, заговорщикам, бунтарям, нарушителям порядка и дисциплины! Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям порядка!

Авдий молчал.

– Ну ладно, попробуем развязать тебе руки, посмотрим, как ты поведешь себя, – смиловился Обер. – А ну развяжите ему руки, – приказал он, – они ему сейчас будут нужны.

– И на хрена, бля, развязывать, – недовольно бурчал Мишаш, разматывая веревку за спиной Авдия. – Таких надо, как щенят, топить сразу. Таких надо в три погибели гнуть, в землю вгонять.

Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки.

– Ну что, просьбу твою мы выполнили, – сказал Обер-Кандалов. – У тебя есть еще шанс. А для начала на, выпей! – И он протянул Авдию стакан водки.

– Нет, пить я не буду, – наотрез отказался Авдий.

– Да подавись ты, шваль! – Резким движением Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот, от неожиданности чуть не захлебнулся, вскочил. Но Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле.

– Врешь, бля, будешь пить! – рычал Мишаш. – Я ж говорил, таких топить надо! А ну, Обер, налей-ка еще водки. Я ему в глотку залью, а не будет пить, прибью, как собаку.

Края стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, порезали Авдию лицо. Захлебнувшись водкой и собственной кровью, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и ногами от Мишаша и Кепы.

– Ребята, не надо, бог с ним, пусть не пьет, сами выпьем! – жалобно скулил Гамлет-Галкин, бегая вокруг дерущихся. Абориген-Узюкбай юркнул за угол машины и испуганно выглядывал оттуда, не зная, как быть: то ли остаться на месте – водки вон сколько еще не допили, – то ли бежать от беды подальше... И только Обер-Кандалов, восседая на своем ящичке, как на троне, точно за цирковым представлением следил.

Гамлет-Галкин подскочил к Оберу:

– Останови их, Обер, дорогой, ведь убьют – под суд пойдем!

– Под суд! – высокомерно хмыкнул Обер. – Какой еще тебе суд в Моюнкумах? Я здесь суд! Поди потом докажи, как и что. Да, может, его волки задрали. Кто видел, кто докажет?

Авдий потерял сознание, упал им под ноги, и они принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия была об Инге: что будет с ней, ведь никто и никогда не сможет полюбить ее так, как он.

Он уже не слышал ничего, в глазах у него помутилось, и ему почему-то привиделась серая волчица. Та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи...

– Спаси меня, волчица, – вдруг вырвалось у Авдия.

Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки, Акбара и Ташчайнар, сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу, вот почему они возвратились, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лощину и отправились куда-нибудь подальше...

Но громада грузовика по-прежнему устрашающе темнела все на том же месте – оттуда доносились крики, возня, звук тупых ударов...

И снова волкам пришлось повернуть в степь. Измученные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда глаза глядят... Не было им жизни от людей ни днем ни ночью... И медленно брели они, и луна освещала их темные силуэты с поджатыми хвостами...

А суд, вернее самосуд, продолжался... Пьяные в дым облавщики не замечали, что подсудимый Авдий Каллистратов, когда его в очередной раз сбивали кулаками, почти не пытался вставать.

– А ну, вставай, поповская морда, – понуждали его крепкими пинками и матом то Мишаш, то Кепа, но Авдий лишь тихо стонал. Рассвирепевший Обер-Кандалов схватил обвисшего, как мешок, Авдия, поднял над землей и, держа за шиворот, стал выговаривать, еще больше стервенея от своих слов:

– Так ты нас, сволочь, богом решил утратить, страху на нас нагнать, глаза нам богом колоть захотел, гад ты этакий! Нас богом не запугаешь – не на тех нарвался, сука. А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, сука, против области, значит, ты – сволочь, враг народа, враг народа и государства. А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле! Это еще Сталин сказал: «Кто не с нами, тот против нас». Врагов народа надо уничтожать под корень! Никаких поблажек! Если враг не сдается, его уничтожают к такой-то матери. А в армии за такую агитацию дают вышку – и разец! Чтоб чисто было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем! Срывал задание! Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродка, как врага народа, и мне только спасибо скажут, потому

как ты агент империализма, гад! Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется? Ты, тварь поповская, становись сейчас на колени. Я сейчас твоя власть – отрекись от Бога своего, а иначе конец тебе, сволочь эдакая!

Авдий не удержался на коленях, упал. Его подняли.

– Отвечай, гад, – орал Обер-Кандалов. – Отрекись от бога! Скажи, что бога нет!

– Есть Бог! – слабо простонал Авдий.

– Вот оно как! – как ошпаренный заорал Мишаш. – Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в отместку другое!

Задохнувшись от злобы, Обер-Кандалов снова затряс Авдия за шиворот.

– Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт, век не забудешь! А ну тащите его вон на то дерево, подвесим его, подвесим гада! – кричал Обер-Кандалов. – А под ногами костерок разведем. Пусть подпалится!

И Авдия дружно поволокли к корявому саксаулу, раскинувшемуся на краю лощины.

– Веревки тащи! – приказал Обер-Кандалов Кепе. Тот кинулся к кабине.

– Эй вы там! Узюкбай, хозяин страны, мать твою перетак, и ты, как тебя там, артист дерьмовый, вы чего в стороне стоите, а? А ну набегай, наваливайся! А нет, и нюхнуть водки не дам! – припугнул Обер-Кандалов жалких пьянчуг, и те сломя голову бросились подвешивать несчастного Авдия.

Хулиганская затея вдруг обрела зловецкий смысл. Дурной фарс грозил обернуться судом линча.

– Одно, бля, плохо – креста и гвоздей не хватает в этой поганой степи! Вот, бля, беда, – сокрушался Мишаш, с треском обламывая сучья саксаула. – То-то было бы дело! Распять бы его!

– А ни хрена, мы его веревками прикрутим! Не хуже чем на гвоздях висеть будет! – нашел выход из положения Обер-Кандалов. – Растянем за руки и за ноги, как лягушку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Пусть повисит до утра, пусть подумает, есть бог или нет! Я с ним такое воспитательное мероприятие проведу, до смерти запомнит, зараза поповская, где раки зимуют! Я и не таких в армии дрессировал! А ну навались, ребята, а ну хватай его! Поднимай вон на ту ветку, да повыше! Крути руку сюда, ногу туда!

Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освежеванная шкура, вывешенная для просушки.

Авдий еще слышал брань и голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того боку, где печень, нестерпимо жгло, в пояснице точно бы что-то лопнуло или оборвалось – такая была там боль. Силы медленно покидали Авдия. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами, его уже не беспокоило. Все было ему безразлично. С костром, однако, ничего не получилось: отсыревшие от выпавшего накануне снега трава и сучья не желали гореть... А плеснуть бензина никому не пришло в голову. С них хватило и того, что Авдий Каллистратов висел, как пугало на огороде. И вид его, напоминающий не то повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбудоражил. Особенно вдохновился Обер-Кандалов. Ему мерещились картины куда более действенные и захватывающие – что там один повешенный в степи!

– Так будет со всяким – зарубите это на носу! – грозил он, окидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия. – Я бы каждого, кто не с нами, вздернул, да так, чтобы сразу язык набок. Всех бы перевешал, всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем, обхватил, и тогда б уж никто ни единому нашему слову не воспротивился, и все ходили бы по струнке... А ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала...

Поддакивая Оберу, они шумно двинулись к машине, а Обер затянул, видимо, одному ему известную песню:

*Мы натянем галифе, сбоку кобура,
Раз-два, раз-два...*

Разгоряченные «дружки комиссары» подхватили: «Раз-два, раз-два» – и, пустив по кругу еще пару поллитровок, распили их из горла.

Через некоторое время машина, вспыхнув фарами, завелась, развернулась и медленно поползла прочь по степи. И сомкнулась тьма. И все стихло вокруг. И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзала нестерпимая, помрачающая ум боль... И уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье.

«Мой островок на Оке... Кто же спасет тебя, Учитель?» – вспыхнула искрой и угасла его последняя мысль...

То подступали конечные воды жизни...

И привиделась его угасающему взору большая вода, бесконечная сплошная водная поверхность без конца и без края. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бесшумные белые волны, как поземка по полю, неизвестно откуда и неизвестно куда. Но на самом едва видимом краю того беззвучного моря смутно угадывалась над водой фигура человека, и

Авдий узнал этого человека – то был его отец, дьякон Каллистратов. И вдруг послышался Авдию его собственный отроческий голос – голос читал вслух отцу его любимую молитву о затопленном корабле, как тогда дома в детстве, стоя возле старого пианино, но только теперь расстояние между ними было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновенно разносился над мировым пространством:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит...

...Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет – я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспошли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должное принять любой исход – гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный...

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня...

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он гул машин и крики чаек, следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему вовеки не дано... Аминь...».

Голос его постепенно утихал, все больше удалялся... И слышал Авдий свой плач над океаном...

И всю ночь в тиши над необъятной Моюнкумской саванной в полную силу лился яркий, ослепляющий лунный свет, высвечивая застывшую на саксауле распятую человеческую фигуру. Фигура чем-то напоминала большую птицу с раскинутыми крылами, устремившуюся ввысь, но подбитую и брошенную на ветки.

А в полутора километрах от этого места стоял в степи тот самый военного образца грузовик, крытый брезентом, в котором, учинив свое черное дело, спали вповалку на тушах сайгаков, в сивушной, изрыгнутой

во сне блевотине обер-кандаловцы. И колыхался в воздухе густой надсадный храп. Они отъехали поодаль, чтобы оставить Авдия на ночь в одиночестве, – хотели проучить его: пусть почувствует, что он без них, тогда уж наверняка отречется от Бога и преклонится перед силой...

Такое наказание Авдию изобрел бывший артист Гамлет-Галкин после того, как еще и еще приложился к горлу, когда пил водку как безвкусную мертвую воду. Эту идею Гамлет-Галкин высказал, желая угодить Обер-Кандалову, – пусть, мол, боголюбец натерпится страху. Пусть подумает: мол, вздернули-прикрутили и уехали насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но не тут-то было!

Утром, когда уже начало рассветать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара, за ночь ее бока опали, провалились, за ней угрюмо прихрамывал башкастый Ташчайнар. На старом месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение, как по минному полю, с чрезвычайной осторожностью. На каждом шагу они натыкались на нечто враждебное, чуждое: угасший костер, пустые банки, битое стекло, резкий запах резины и железа, застрявший в колеях, оставленных грузовиком, и везде все еще источавшие сивушное зловоние распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лоцины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте как вкопанная – человек! В двух шагах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок голову, висел человек. Акбара кинулась в кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился. Ветерок посвистывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась подобно пружине, изготовилась к прыжку. Перед ней был человек, существо, страшней которого нет, виновник их волчьих бед, непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы взметнуться и броситься в рывке на человека, вонзить клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица вдруг узнала этого человека. Но где она его видела? Да это же тот самый чудак, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводком отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбаре в то мгновение и летний день, и то, как играли ее волчата с этим человеком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через него, когда он со страху присел на землю, закрывая руками голову. Припомнилось ошеломленное выражение его испуганных глаз и то, как он, голокожий и беззащитный, кинулся прочь...

Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно

птица, застрявшая в ветках, и непонятно было волчице, жив он или мертв. Человек не шевелился, не издавал ни звука, голова его свесилась набок, и из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого и тихо заскулила: ведь все те, летошние ее волчата погибли. И вся жизнь в Моюнкумах пошла прахом. И не перед кем было ей лить слезы... Этот человек ничем не мог ей помочь, конец его был уже близок, но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей волчице:

– Ты пришла... – И голова его безвольно упала вниз.

То были его последние слова.

В эту минуту послышался шум мотора – в степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления обер-кандаловцы...

И волки не задерживаясь потрусили дальше и пошли, и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили не оглядываясь – моюнкумские волки покидали Моюнкумы, великую саванну, навсегда...<...>

"И НАСТУПИЛ ТОТ ДЕНЬ..."

И наступил тот день...

Но ему предшествовала ночь, когда Акбара вернулась в свое старое логово. Впервые после гибели Ташчайнара. Одинокая волчица избегала старого логова под свесом скалы – знала, что оно пусто и что там ее никто не ждет. И все-таки однажды исстрадавшейся Акбаре захотелось вдруг побежать знакомым путем, юркнуть через лазы в логово – а вдруг там ждут ее детеныши. Не справилась она с искушением, поддалась самообману.

Акбара бежала как сумасшедшая, не разбирая пути, по воде, по камням, мимо ночных костров, засветившихся на летних стойбищах, мимо злобных собак, а вдогонку ей громыхали выстрелы...

Так бежала она, одинокая и обезумевшая, по горам под высокой, стоявшей в небе луной... И когда добежала до логова, так заросшего новой порослью травы и барбариса, что и не узнать, не посмела войти в свое давно осиротевшее, забытое жилье... А перебороть себя, уйти прочь тоже не было сил... И вновь обратилась Акбара к волчьей богине Бюри-Ане и долго

плакалась, скуля и воя, долго жаловалась на свою горемычную судьбу и просила богиню взять ее к себе на луну, туда, где нет людей... <...>

<...> И вот настал тот день...

Бостон проснулся в то утро, когда солнце светило уже вовсю: прибыв на рассвете, он поспал по возвращении часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пускать Кенджеша к отцу, в какой-то момент, занятая сборами, она не уследила за малышом. И малыш, что-то лопоча, бесцеремонно трепал отца по щекам. Бостон открыл глаза, улыбаясь, обнял Кенджеша, и удивительная нежность к мальчишке с особой силой охватила его. Отраднo было сознавать, что Кенджеш, его плоть и кровь, растет здоровым и подвижным, что в свои неполные два года он смышлен, любит родителей, что и лицом и складом характера он похож на него, только глаза, влажно блестящие, как черные смородины, материнские. Всем удался мальчик, и, глядя на него, Бостон гордился, что у него такой чудесный сын.

– Что ты, сынок? Мне вставать? А ну, потяни меня за руку! Потяни, потяни, вот так! Ого, какой силач! А теперь обними меня за шею!

Гулюмкан тем временем успела уже вскипятить любимый мужем густой калмыцкий чай с жареной мукой, с молоком и солью, и поскольку не только отары, а даже собаки и те были далеко в горах, Уркунчиевы могли позволить себе хоть раз в году выпить чай без помех, в тишине и спокойствии. Мало кто понимает, как редко выпадает такой отдых чабанской семье. Ведь скотина требует внимания непрерывно, круглый год и круглые сутки, а когда в стаде чуть не тысяча голов, а с приплодом и все полторы, то о таком свободном от забот утре чабанская семья может только мечтать. Они сидели, наслаждаясь покоем перед тем, как приступить к сборам – ехали ведь на все лето. Машина ожидалась к полудню, и к этому часу весь домашний скарб должен был быть собран.

– Ой, прямо не верится, – все приговаривала Гулюмкан, – как хорошо, какая благодать, какая тишина! Не знаю, как тебе, а мне уезжать не хочется. Давай никуда не поедem. Кенджешик, скажи отцу, что не надо никуда ехать.

Кенджешик что-то лепетал, подсаживался то к отцу, то к матери, а Бостон добродушно соглашался с женой:

– А что? Почему бы нам и не прожить здесь все лето?

– Сказал тоже, – смеялась Гулюмкан, – да ты через день так припустишь за своей отарой, что за тобой на Донкулюке не угонишься!

– И верно, не угонишься даже на Донкулюке! – поддакивал довольный Бостон и поглаживал жесткие усы. Это означало, что он счастлив.

Так чаевничали они за низким круглым столом, взрослые сидели на полу, а малыш бегал около. Родители хотели его накормить, но малыш уж очень распалился в то утро, бегал, резвился, никак не усадишь его есть. Двери распахнули – при закрытых дверях становилось жарко, – и Кенджеш то и дело беспрепятственно выскакивал наружу, носился по двору, наблюдал за маленькими проворными, пушистенькими цыплятами, сновавшими возле квочки. То была курица их соседа, ночника Кудурмата. Сам он был уже на летовке, а жена его Асылгуль собиралась отправиться вместе с Уркунчиевыми на машине. Она уже заглянула к ним, сказала, что собрала вещи, осталось только посадить курицу с цыплятами в корзину, но это она успеет сделать, когда придет машина. А пока она собирается простирнуть да просушить белье.

Так проходило то утро. Солнце уже изрядно припекало. Все были заняты своими делами. Бостон с женой увязывали узлы, укладывали посуду. Асылгуль устроила постирушку – слышно было, как она то и дело выплескивает из дверей мыльную воду. А маленького Кенджеша предоставили самому себе, и он то выбегал из дому, то опять забегал в дом и все крутился возле цыплят.

Заботливая квочка тем временем повела цыплят подальше от дома покопаться за углом в земле. Малыш подался за цыплятами, и незаметно они оказались за глухой стеной сарая. Здесь, среди лопухов и конского щавеля, было по-летнему покойно и тихо. Цыплята, попискивая, рылись в мусоре, а Кенджеш, тихо смеясь, разговаривал с цыплятами, все пытаясь их погладить. Кенджеша квочка не боялась, но когда вблизи, неслышно ступая, появилась большая серая собака, курица встревожилась, недовольно закудаhtала и предпочла увести цыплят подальше. Кенджеша же большая серая собака с удивительными синими глазами ничуть не испугала. Она кротко смотрела на малыша, дружелюбно помахивая хвостом. То была Акбара. Волчица давно уже бродила около зимовья.

Волчица решила так близко подойти к человеческому жилью потому, что, начиная с минувшей ночи, на подворье было пусто, не слышались ни людские, ни собачьи голоса. Влекомая неутрахающей материнской тоской, неумирающей надеждой, она осторожно обошла все кошары, все стойла, нигде не обнаружила своих утраченных волчат и подошла вплотную к человеческому жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как любой из ее волчат, только человеческий, и когда он потянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку, изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она

подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался ее ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда Акбара совсем разомлела, легла у его ног, стала играть с ним – ей хотелось, чтобы он пососал ее сосцы, но он вместо этого сел на нее верхом. Потом соскочил и позвал ее за собой. «Жюр! Жюр!» – кричал он ей, заливаясь счастливым смехом, но Акбара не решалась идти дальше, она знала, что там люди. Не двигаясь с места, волчица грустно поглядывала синими глазами на мальчугана, и он снова подошел к ней и гладил ее по голове, а Акбара вылизывала детеныша, и ему это очень нравилось. Волчица изливала на него накопившуюся в ней нежность, вдыхала в себя его детский запах. Как отрадно было бы, думалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы. Осторожно, чтобы не поранить шейку, волчица ухватила малыша за ворот курточки и резким рывком перекинула на загривок – таким манером волки утаскивают из стада ягнят.

Мальчик вскрикнул пронзительно, коротко, как раненый заяц. Соседка Асылгуль, шедшая к сараю развешивать белье, поспешив на крик Кенджеша, заглянула за угол, бросила белье на землю и кинулась к дверям Бостона.

– Волк! Волк ребенка утащил! Скорее, скорее! Бостон не помня себя сорвал со стены ружье и бросился из дома, следом за ним Гулюмкан.

– Туда! Туда! Вон Кенджеш! Вон волчица его тащит! – вопила соседка, в ужасе хватаясь за голову.

Но Бостон уже и сам увидел волчицу – она трусила, неся на загривке дико орущего малыша.

– Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю! – закричал во весь голос Бостон и побежал вдогонку за волчицей.

Акбара припустила, а Бостон неся вслед за ней с ружьем и кричал не своим голосом:

– Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда больше я не трону твоего рода! Оставь, брось ребенка! Акбара! Послушай меня, Акбара!

Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным счетом ничего не значат. Крики, погоня лишь напугали ее, и она побежала быстрее.

А Бостон, не умолкая ни на минуту, преследовал Акбару.

– Акбара! Оставь моего сына, Акбара! – зывал он. А чуть поотстав, с отчаянными воплями и причитаниями бежали Гулюмкан и Асылгуль.

– Стреляй! Стреляй быстрее! – кричала Гулюмкан, забыв, что Бостон не может стрелять, пока волчица несет на себе малыша.

Крики, погоня лишь взбудоражили Акбару, распалили волчий инстинкт, и она решила не выпускать своей добычи. Мертвой хваткой

держа малыша за шиворот, волчица упорно бежала вперед, уходила все дальше в горы и, даже когда позади прогремел выстрел и пуля просвистела у нее над головой, не бросила своей ноши. А малыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бостон снова выстрелил в воздух, не зная, чем еще утешить волчицу, но и этот выстрел не испугал ее. Акбара продолжала удаляться в сторону каменных завалов, а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бостон пришел в отчаяние: как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи?

– Брось мальчика, Акбара! Брось, прошу тебя, оставь нам нашего сына! – задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, молил он на бегу похитительницу.

И в третий раз выстрелил Бостон в воздух, и снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута – и он упустит последний шанс, Бостон решился выстрелить по волчице. С разбега припал на колено и стал целиться: он метил по ногам, только по ногам. Но ему никак не удавалось прицелиться – грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться. И все же он попытался собраться с силами и, глядя в дергающуюся прорезь прицела, как скачет, точно бы плывет по бурным волнам, волчица, прицелился и спустил курок. Мимо. Пуля, взбурлив пыль рядом с целью, прошла понизу. Бостон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела, а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок.

Вскинув винтовку на плечо, Бостон будто во сне побежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве...

И вот наконец, похолодев, точно на дворе стояла стужа, он подбежал к волчице. И согнулся в три погибели, закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш.

А мир, утративший звуки, безмолвствовал. Он исчез, его не стало, на его месте остался только бушующий огненный мрак. Не веря своим глазам, Бостон склонился над телом сына, залитым алой кровью, медленно поднял его с земли и, прижимая к груди, попятился назад, удивляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы. Потом повернулся и, онемев от горя, пошел навстречу бегущим к нему женщинам.

Ему почудилось, что жена его растет у него на глазах, и вот уже ему навстречу шагает гигантская женщина с огромным деформированным лицом, простирая к нему огромные деформированные руки.

Он брел как слепой, прижимая к груди убитого им малыша. За ним, вопя и причитая, брела Гулюмкан, ее поддерживала под руку голосащая соседка.

Бостон, оглушенный горем, ничего этого не слышал. Но вдруг оглушительно, точно грохот водопада, на него обрушились звуки реального мира, и он понял, что случилось, и, обратив взгляд к небу, страшно закричал:

– За что, за что ты меня покарал?

Дома он уложил тело малыша в его кровать, уже приготовленную к предстоящей погрузке на машину, и тут Гулюмкан припала к изголовью и завывала так, как выла ночами Акбара... Рядом с ней опустила на пол Асылгуль...

Бостон же вышел из дому, прихватив с собой ружье. Одну обойму вставил в магазин, другую сунул в карман, точно собирался на бой. Затем кинул седло на спину Донкулюка, одним махом вскочил на коня и уехал из дома, не сказав ничего ни жене, ни соседке Асылгуль...

А отъехав чуть подальше от кошта, дал волю Донкулюку, и золотистый дончак помчал его по той же дороге, по которой в конце зимы он скакал к Таманскому зимовью.

Тот, кого он хотел застать и кого непременно нашел бы даже под землей, был на месте.

На подворье Базарбая Нойгутова в тот день тоже грузили машину – отправляли домашний скarb на летние выпасы. Занятые этими хлопотами, люди не заметили, как за кошарой появился Бостон, как он спешил, как скинул ружье, как перезарядил его, поставил на боевой взвод, а затем снова повесил на плечо.

Его заметили, лишь когда он уже приблизился к месту погрузки. Базарбай, спрыгнув с грузовика, удивленно уставился на него.

– Ты чего? – сказал он Бостону, доскребывая в затылке и вглядываясь в его черное, как обугленная головешка, лицо. – Ты чего тут? Чего так смотришь? – всполошился он, предчувствуя что-то недоброе. – Опять насчет волчат, что ли? Делать тебе нечего? Попросили меня, я и написал.

– Плевать мне, что ты там написал, – мрачно бросил Бостон, не отрывая от него тяжелого взгляда. – Не до этого мне. Я хочу тебе сказать, что ты недостоин жить на этом свете, и я сам порешу тебя!

Базарбай не успел даже заслониться, как Бостон вскинул ружье и, почти не целясь, выстрелил в него. Базарбай зашатался, кинулся было спрятаться за грузовик, но второй выстрел настиг его, угодив в спину, и Базарбай, трижды перекрутившись, ударился головой о кузов и, рухнув на землю, судорожно заскреб ее руками. Все это произошло так неожиданно, что поначалу никто не двинулся с места. И только когда несчастная Кок Турсун с воплем упала на тело мужа, все разом закричали и побежали к убитому.

– Ни с места! – громко приказал Бостон, озираясь по сторонам. – Чтоб никто ни с места! – пригрозил он, направляя дуло на каждого по очереди. – Я сам отправлюсь сейчас туда, куда следует. И потому предупреждаю, чтоб никто ни с места! В случае чего у меня патронов хватит! – И он похлопал себя по карману.

Все остановились как громом пораженные, никто ничего не мог понять, ничего сказать, словно все потеряли дар речи. Только несчастная Кок Турсун продолжала причитать над телом ненавистного мужа:

– Я всегда знала, что ты кончишь, как собака, потому что ты и был собака! Убей и меня, убийца! – рванулась жалкая и безобразная Кок Турсун к Бостону. – Убей и меня, как собаку. Я и так света белого сроду не видала, зачем мне такая жизнь! – Она попыталась еще что-то выкрикнуть: мол, она предупреждала Базарбая, что нечего ему было похищать волчат, что это до добра не доведет, но этот изверг ни перед чем не останавливался, даже диких зверей и то пропивал, – но тут двое пастухов зажали ей рот и оттащили подальше.

И тогда, окинув суровым взглядом стоящих вокруг, Бостон негромко, но жестко сказал:

– Хватит, я сам отправлюсь сейчас куда следует, сам на себя заявлю. Повторяю – сам! А вы все оставайтесь на своих местах. Слышали?

Никто не вымолвил ни слова. Потрясенные случившимся, все молчали. Глядя на лица людей, Бостон вдруг понял, что с этой минуты он преступил некую черту и отделил себя от остальных: ведь его окружали близкие люди, с которыми изо дня в день, из года в год вместе добывал хлеб насущный. Каждого из них он знал, и они его знали, с каждым из них у него были свои отношения, но теперь на их лицах читалось отчуждение, и он понял, что отныне он отлучен от них навсегда, как если бы его ничто и никогда не связывало с ними, как если бы он воскрес из мертвых и тем уже был страшен для них.

Ведя на поводу коня, Бостон пошел прочь. Он уходил не оглядываясь, уходил в приозерную сторону, чтобы сдать там властям. Шел по дороге,

понури́в голову, а за ним, прихрамывая и позвякивая уздечкой, следовал его верный Донкулюк.

То был исход его жизни...

– Вот и конец света, – сказал вслух Бостон, и ему открылась страшная истина: весь мир до сих пор заключался в нем самом и ему, этому миру, пришел конец. Он был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбарой, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, оставшимся навечно во льдах перевала Ала-Монгю, и последней его ипостасью – младенцем Кенджешем, подстреленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым в себе, и все, что он видел и что пережил на своем веку, – все это было его вселенной, жило в нем и для него, и теперь хотя все это и будет пребывать, как пребывало вечно, но без него – то будет иной мир, а его мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и не возродится ни в ком и ни в чем. Это и была его великая катастрофа, это и был конец его света...

На пустынной полевой дороге к Приозерью Бостон вдруг круто обернулся, обнял коня за шею, повис на нем и зарыдал громко и безысходно.

– О, Донкулюк, один ты не понимаешь, что я натворил! – плакал он, содрогаясь всем телом от рыданий. – Как мне быть? Сына своими руками убил и, не похоронив, ухожу и любимую женщину оставляю одну.

Потом закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Донкулюка, закрепил стремяна на луке седла, чтобы не колотили коня по бокам.

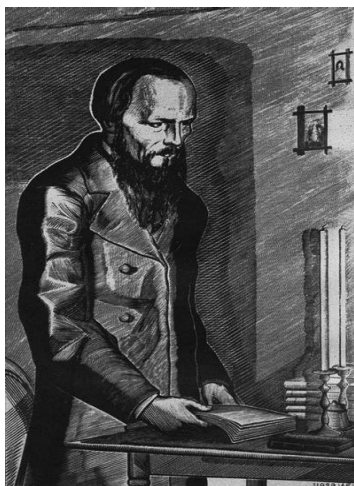
– Иди, иди домой, иди куда хочешь! – попрощался он с Донкулюком. – Больше мы не увидимся!

Ударил коня ладонью по крупу, шуганул его, и конь, удивляясь своей свободе, пошел на кошт.

Бостон же продолжал свой путь...

А синяя крутизна Иссык-Куля все приближалась, и ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть – и хотелось и не хотелось жить. Вот как эти буруны – волна вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО В ЛИТЕРАТУРЕ



Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
(фрагменты глав романа)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

VII. <УБИЙСТВО>

Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Тут Раскольников потерялся и сделал было важную ошибку.

Опасаясь, что старуха испугается того, что они одни, и не надеясь, что вид его ее разуверит, он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтобы старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Увидя это, она не рванула дверь к себе обратно, но не выпустила и ручку замка, так что он чуть не вытащил ее, вместе с дверью, на лестницу. Видя же, что она стоит в дверях поперек и не дает ему пройти, он пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла и смотрела на него во все глаза.

- Здравствуйте, Алена Ивановна, – начал он как можно развязнее, но голос не послушался его, прервался и задрожал, – я вам... вещь принес... да вот лучше пойдемте сюда... к свету... – И, бросив ее, он прямо, без приглашения, прошел в комнату. Старуха побежала за ним; язык ее развязался.

- Господи! Да чего вам?.. Кто такой? Что вам угодно?



Процентщица. Худ. Д.Шмаринов

- Помилуйте, Алена Ивановна... знакомый ваш... Раскольников... вот, заклад принес, что обещался наперед... – И он протягивал ей заклад.

Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво. Прошло с минуту; ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что кажется, смотри она так, не говори ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее.

- Да что вы так смотрите, точно не узнали? – проговорил он вдруг тоже со злобой. – Хотите берите, а нет – я к другим пойду, мне некогда.

Он и не думал это сказать, а так, само вдруг выговорилось.

Старуха опомнилась, и решительный тон гостя ее, видимо, ободрил.

- Да чего же ты, батюшка, так вдруг... что такое? – спросила она, смотря на заклад.

- Серебряная папиросочница: ведь я говорил прошлый раз.

Она протянула руку.

- Да чтой-то вы какой бледный? Вот и руки дрожат! Искупался, что ль, батюшка?

- Лихорадка, – отвечал он отрывисто. - Поневоле станешь бледный... коли есть нечего, – прибавил он, едва выговаривая слова. Силы опять покидали его. Но ответ показался правдоподобным; старуха взяла заклад.

- Что такое? – спросила она, еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке.

- Вещь... папиросочница... серебряная... посмотрите.

- Да чтой-то, как будто и не серебряная... Ишь навертел.

Стараясь развязать снурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у ней были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правую рукой

под одеждой. Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор... вдруг голова его как бы закружилась.

– Да что он тут навертел! – с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.

Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать "заклад". Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой.

Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровью, – в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться... Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната, с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным из лоскутков, ватным одеялом. У третьей стены был комод. Странное дело: только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем. Ему вдруг опять захотелось бросить все и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он даже усмехнулся на себя, как вдруг другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая

ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку; да и без того было видно. Крови между тем натекла уже целая лужа. Вдруг он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался; к тому же намок в крови. Он попробовал было вытащить так, из-за пазухи, но что-то мешало, застряло. В нетерпении он взмахнул было опять топором, чтобы рубнуть по снурку тут же, по телу, сверху, но не посмел, и с трудом, испачкав руки и топор, после двухминутной возни, разрезал снурок, не касаясь топором тела, и снял; он не ошибся – кошелек. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтяный образок; и тут же вместе с ними висел небольшой, замшевый, засаленный кошелек, с стальным ободком и колечком. Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.

Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. Не то чтобы руки его так дрожали, но он все ошибался: и видит, например, что ключ не тот, не подходит, а все сует. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ, с зубчатою бородкой, который тут же болтается с другими маленькими, непременно должен быть вовсе не от комода (как и в прошлый раз ему на ум пришло), а от какой-нибудь укладки, и что в этой-то укладке, может быть, все и припрятано. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать, зная, что укладки обыкновенно ставятся у старух под кроватями. Так и есть: стояла значительная укладка, побольше аршина в длину, с выпуклою крышей, обитая красным сафьяном, с утыканными по нем стальными гвоздиками. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху, под белою простыней, лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром; под нею было шелковое платье, затем шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. Прежде всего он принялся было вытирать об красный гарнитур свои запачканные в крови руки. "Красное, ну а на красном кровь неприметнее", – рассудилось было ему, и вдруг он опомнился: "Господи! С ума, что ли, я схожу?" - подумал он в испуге.

Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг, из-под шубки, выскользнули золотые часы. Он бросился все перевертывать. Действительно, между тряпьем были перемешаны золотые вещи – вероятно, всё заклады, выкупленные и невыкупленные, - браслеты, цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу,

но аккуратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками. Нимало не медля, он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не раскрывая свертков и футляров; но он не успел много набрать...

Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но все было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда, они начинают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета было проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.

Страх охватывал его все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждою

минутой. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты.

Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам. Впрочем, взглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды, он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколоте блюдечке, кусочек мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было сырое. Тщательно вложил он топор в петлю, под пальто. Затем, сколько позволял свет в тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал, впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся, чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась в нем, - мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает... "Боже мой! Надо бежать, бежать!" – пробормотал он и бросился в переднюю. Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.

Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! Старуха не заперла за ним, может быть, из осторожности. Но боже! Ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же.

Он кинулся к дверям и наложил запор.

"Но нет, опять не то! Надо идти, идти..."

Он снял запор, отворил дверь и стал слушать на лестницу.

Долго он выслушивал. Где-то далеко, внизу, вероятно под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бранились. "Что они?.." Он уже хотел выйти, на вдруг этажом ниже с шумом растворилась

дверь на лестницу, и кто-то стал сходить вниз, напевая какой-то мотив. "Как это они так все шумят!" – мелькнуло в его голове. Он опять притворил за собою дверь и переждал. Наконец все умолкло, ни души. Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг опять послышались чьи-то новые шаги.

Эти шаги послышались очень далеко, еще в самом начале лестницы, но он очень хорошо и отчетливо помнил, что с первого же звука, тогда же стал подозревать почему-то, что это непременно сюда, в четвертый этаж, к старухе. Почему? Звуки, что ли, были такие особенные, знаменательные? Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Вот уж он прошел первый этаж, вот поднялся еще; все слышней и слышней! Послышалась тяжелая одышка входившего. Вот уж и третий начался... Сюда! И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя.

И наконец, когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь вдруг встрепенулся и успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собою дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно, насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился не дыша, прямо сейчас у двери. Незванный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался.

Гость несколько раз тяжело отдохнул. "Толстый и большой, должно быть", – подумал Раскольников, сжимая топор в руке. В самом деле, точно все это снилось. Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил.

Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал и вдруг, в нетерпении, изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит. Действительно, это казалось возможным: так сильно дергали. Он было вздумал придержать запор рукой, но тот мог догадаться. Голова его как будто опять начинала кружиться. "Вот упаду!" – промелькнуло в нем, но незнакомец заговорил, и он тотчас же опомнился.

- Да что они там, дрыхнут или передушил их кто? Тррреклятые! – заревел он как из бочки. – Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Отворяйте! У, треклятые, спят они, что ли?

И снова, остервенясь, он раз десять сразу, из всей мочи, дернул в колокольчик. Уж, конечно, это был человек властный и короткий в доме.

В самую эту минуту вдруг мелкие, поспешные шаги послышались недалеко на лестнице. Подходил еще кто-то. Раскольников и не расслышал сначала.

– Неужели нет никого? – звонко и весело закричал подошедший, прямо обращаясь к первому посетителю, все еще продолжавшему дергать звонок.
– Здравствуйте, Кох!

"Судя по голосу, должно быть, очень молодой", – подумал вдруг Раскольников.

– Да черт их знает, замок чуть не разломал, – отвечал Кох. – А вы как меня изволите знать?

– Ну вот! А третьего-то дня, в "Гамбринусе", три партии сряду взял у вас на биллиарде!

– А-а-а...

– Так нет их-то? Странно. Глупо, впрочем, ужасно. Куда бы старухе уйти? У меня дело.

– Да и у меня, батюшка, дело!

– Ну, что же делать? Значит, назад. Э-эх! А я было думал денег достать!
– вскричал молодой человек.

– Конечно, назад, да зачем назначать? Сама мне, ведьма, час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к черту ей шляться, не понимаю? Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье!

– У дворника не спросить ли?

– Чего?

– Куда ушла и когда придет?

– Гм... черт... спросить... Да ведь она ж никуда не ходит... – и он еще раз дернул за ручку замка. – Черт, нечего делать, идти!

– Стойте! – закричал вдруг молодой человек, – смотрите: видите, как дверь отстает, если дергать?

– Ну?

– Значит, она не за замке, а на запоре, на крючке то есть! Слышите, как запор брякает?

– Ну?

– Да как же вы не понимаете? Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут, – слышите, как запор брякает? Стало быть, дома сидят, да не отпирают!

– Ба! Да и в самом деле! – закричал удивившийся Кох. – Так что ж они там! – И он неистово начал дергать дверь.

– Стойте! – закричал опять молодой человек, – не дергайте! Тут что-

нибудь да не так... вы ведь звонили, дергали – не отпирают; значит, или они обе в обмороке, или...

– Что?

– А вот что: пойдете-ка за дворником; пусть он их сам разбудит.

– Дело! – Оба двинулись вниз.

– Стойте! Останьтесь-ка вы здесь, а я сбегаю вниз за дворником.

– Зачем оставаться?

– А мало ли что?..

– Пожалуй...

– Я ведь в судебные следователи готовлюсь! Тут очевидно, оч-че-в-видно что-то не так! – горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице.

Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком, и тот звякнул один удар; потом тихо, как бы размышляя и осматривая, стал шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, чтоб убедиться еще раз, что она на одном запоре. Потом пыхтя нагнулся и стал смотреть в замочную скважину; но в ней изнутри торчал ключ и, стало быть, ничего не могло быть видно.

Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить все разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, покамест не отперли. "Поскорей бы уж"! – мелькнуло в его голове.

– Однако он, черт...

Время проходило, минута, другая, – никто не шел. Кох стал шевелиться.

– Однако черт!.. – закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли.

– Господи, что же делать!

Раскольников снял запор, приотворил дверь – ничего не слышно, и вдруг, совершенно уже не думая, вышел, приотворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз.

Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже, – куда деваться! Никуда-то нельзя было спрятаться. Он побежал было назад, опять в квартиру.

– Эй, леший, черт! Держи!

С криком вырвался кто-то вниз из какой-то квартиры и не то что побежал, а точно упал вниз, по лестнице, крича во всю глотку:

– Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шут те дери-и-и!

Крик закончился взвизгом; последние звуки слышались уже на дворе; все затихло. Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу. Их было трое или четверо. Он расслышал звонкий голос молодого. "Они!"

В полном отчаянии пошел он им прямо навстречу: будь что будет! Остановят, все пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят. Они уже сходились; между ними оставалась всего одна только лестница – и вдруг спасение! В нескольких ступеньках от него, направо, пустая и настезь отпертая квартира, та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то, верно, и выбежали сейчас с таким криком. Полы только что окрашены, среди комнаты стоят кадочка и черепок с краской и с мазилкой. В одно мгновение прошмыгнул он в открытую дверь и притаился за стеной, и было время: они уже стояли на самой площадке. Затем повернули вверх и прошли мимо, в четвертый этаж, громко разговаривая. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз.

Никого на лестнице! Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице.

Он очень хорошо знал, он отлично хорошо знал, что они, в это мгновение, уже в квартире, что очень удивились, видя, что она отперта, тогда как сейчас была заперта, что они уже смотрят на тела и что пройдет не больше минуты, как они догадаются и совершенно сообразят, что тут только что был убийца и успел куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо них, убежать; догадаются, пожалуй, и о том, что он в пустой квартире сидел, пока они вверх проходили. А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось. "Не скользнуть ли разве в подворотню какую-нибудь и переждать где-нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда! А не забросить ли куда топор? Не взять ли извозчика? Беда! беда!"

Наконец, вот и переулок; он поворотил в него полумертвый; тут он был уже наполовину спасен и понимал это: меньше подозрений, к тому же тут сильно народ сновал, и он стирался в нем, как песчинка. Но все эти мучения до того его обессилили, что он едва двигался. Пот шел из него каплями; шея была вся смочена. "Ишь нарезался!" – крикнул кто-то ему, когда он вышел на канаву.

Он плохо теперь помнил себя; чем дальше, тем хуже. Он помнил, однако, как вдруг, выйдя на канаву, испугался, что мало народу и что тут приметнее, и хотел было поворотить назад в переулок. Несмотря на то, что чуть не падал, он все-таки сделал крюку и пришел домой с другой совсем стороны.

Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома; по крайней мере он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем предстояла очень важная задача: положить его обратно и как можно незаметнее. Конечно, он уже не в силах был сообразить, что, может быть, гораздо лучше было бы ему совсем не класть топора на прежнее место, а подбросить его, хотя потом, куда-нибудь на чужой двор.

Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была притворена, но не на замке, стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его: "что' надо?" – он, может быть, так прямо и подал бы ему топор. Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место под скамью; даже поленом прикрыл по-прежнему. Никого, ни единой души, не встретил он потом до самой своей комнаты; хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, он бросился на диван, так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Ключки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной не мог остановиться, несмотря даже на усилия...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

VI.

<ЧЕТВЕРТЫЙ СОН РАСКОЛЬНИКОВА>

– ... Не верю! Не могу верить! – повторял озадаченный Разумихин, стараясь всеми силами опровергнуть доводы Раскольникова. Они подходили уже к номерам Бакалеева, где Пульхерия Александровна и Дуня давно поджидали их. Разумихин поминутно останавливался дорогою в жару разговора, смущенный и взволнованный уже тем одним, что они в первый раз заговорили об этом ясно.

– Не верь! – отвечал Раскольников с холодной и небрежною усмешкой, – ты, по своему обычаю, не замечал ничего, а я взвешивал каждое слово.

– Ты мнителен, потому и взвешивал... Гм... действительно, я согласен, тон Порфирия был довольно странный, и особенно этот подлец Заметов!.. Ты прав, в нем что-то было, – но почему? Почему?

– За ночь передумал.

- Но напротив же, напротив! Если б у них была эта безмозглая мысль, так они бы всеми силами постарались ее припрятать и скрыть свои карты, чтобы потом поймать... А теперь – это нагло и неосторожно!

- Если б у них были факты, то есть настоящие факты, или хоть сколько-нибудь основательные подозрения, тогда бы они действительно постарались скрыть игру: в надежде еще более выиграть (а впрочем, давно бы уж обыск сделали!). Но у них нет факта, ни одного, – все мираж, все о двух концах, одна идея летучая – вот они и стараются наглостью сбить. А может, и сам озлился, что фактов нет, с досады прорвался. А может, и намерение какое имеет... Он человек, кажется, умный... Может, напугать меня хотел тем, что знает... Тут, брат, своя психология... А впрочем, гадко это все объяснять. Оставь!

- И оскорбительно, оскорбительно! Я понимаю тебя! Но... так как мы уже теперь заговорили ясно (а это отлично, что заговорили наконец ясно, я рад!) – то уж я тебе прямо теперь признаюсь, что давно это в них замечал, эту мысль, во все это время, разумеется, в чуть-чуть-чуть только виде, в ползучем, но зачем же хоть и в ползучем! Как они смеют? Где, где у них эти корни таятся? Если б ты знал, как я бесился! Как: из-за того, что бедный студент, изуродованный нищетой и ипохондрией, накануне жестокой болезни с бредом, уже, может быть, начинавшейся в нем (заметь себе!), мнительный, самолюбивый, знающий себе цену, и шесть месяцев у себя в углу никого не выдавший, в рубище и в сапогах без подметок, – стоит перед какими-то квартишками и терпит их надругательство; а тут неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым, тухлая краска, тридцать градусов Реомюра, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица, у которого был накануне, и все это – на голодное брюхо! Да как тут не случиться обмороку! И на этом-то, на этом все основать! Черт возьми! Я понимаю, что это досадно, но на твоём месте, Родька, я бы захохотал всем в глаза, или лучше: на-пле-вал бы всем в рожу, да погуще, да раскидал бы на все стороны десятка два плюх, умненько, как и всегда их надо давать, да тем бы и покончил. Плюнь! Ободришь! Стыдно!

"Он, однако ж, это хорошо изложил", – подумал Раскольников.

- Плюнь? А завтра опять допрос! – проговорил он с горечью, – неужели ж мне с ними в объяснение войти? Мне и то досадно, что вчера я унизился в трактире до Заметова...

- Черт возьми! Пойду сам к Порфирию! И уж прижму ж я его, по-родственному; пусть выложит мне все до корней! А уж Заметова...

«Наконец-то догадался!» – подумал Раскольников.

– Стой! – закричал Разумихин, хватая вдруг его за плечо, – стой! Ты наврал! Я надумался: ты наврал! Ну какой это подвох? Ты говоришь, что вопрос о работниках был подвох? Раскуси: ну если б это ты сделал, могли б ты проговориться, что видел, как мазали квартиру... и работников? Напротив: ничего не видал, если бы даже и видел! Кто ж сознается против себя?

– Если б я то дело сделал, то уж непременно бы сказал, что видел и работников и квартиру, – с неохотой и с видимым отвращением продолжал отвечать Раскольников.

– Да зачем же против себя говорить?

– А потому, что только одни мужики, иль уж самые неопытные новички, на допросах прямо и сряду во всем запираются. Чуть-чуть же человек развитой и бывалый, непременно и по возможности старается сознаться во всех внешних и неустрашимых фактах; только причины им другие подыскивает, черту такую свою, особенную и неожиданную вернет, которая совершенно им другое значение придаст и в другом свете их выставит. Порфирий мог именно рассчитывать, что я непременно буду так отвечать и непременно скажу, что видел, для правдоподобия, и при этом верну что-нибудь в объяснение...

– Да ведь он бы тебе тотчас и сказал, что за два дня работников там и быть не могло и что, стало быть, ты именно был в день убийства, в восьмом часу. На пустом бы и сбил!

– Да на это-то он и рассчитывал, что я не успею сообразить, и именно поспешу отвечать правдоподобнее да и забуду, что за два дня работников быть не могло.

– Да как же это забыть?

– Всего легче! На таких-то пустейших вещах всего легче и сбиваются хитрые-то люди. Чем хитрей человек, тем он меньше подозревает, что его на простом собьют. Хитрейшего человека именно на простейшем надо сбивать. Порфирий совсем не так глуп, как ты думаешь...

– Подлец же он после этого!

Раскольников не мог не засмеяться. Но в ту же минуту странными показались ему его собственное одушевление и охота, с которыми он проговорил последнее объяснение, тогда как весь предыдущий разговор он поддерживал с угрюмым отвращением, видимо из целей, по необходимости.

"Во вкус вхожу в иных пунктах!" – подумал он про себя.

Но почти в ту же минуту он как-то вдруг стал беспокоен, как будто неожиданная и тревожная мысль поразила его. Беспокойство его увеличивалось. Они дошли уже до входа в номера Бакалеева.

– Ступай один, – сказал вдруг Раскольников, – я сейчас ворочусь.

– Куда ты? Да мы уж пришли!

– Мне надо, надо; дело... приду через полчаса... Скажи там.

– Воля твоя, я пойду за тобой!

– Что ж, и ты меня хочешь замучить! – вскричал он с таким горьким раздражением, с таким отчаянием во взгляде, что у Разумихина руки опустились. Несколько времени он стоял на крыльце и угрюмо смотрел, как тот быстро шагал по направлению к своему переулку. Наконец, стиснув зубы и сжав кулаки, тут же поклявшись, что сегодня же выжмет всего Порфирия, как лимон, поднялся наверх успокоивать уже встревоженную долгим их отсутствием Пульхерию Александровну.

Когда Раскольников пришел к своему дому, виски его были смочены потом и дышал он тяжело. Поспешно поднялся он по лестнице, вошел в незапертую квартиру свою и тотчас же заперся на крюк. Затем, испуганно и безумно, бросился к углу, к той самой дыре в обоях, в которой тогда лежали вещи, засунул в нее руку и несколько минут тщательно обшаривал дыру, перебирая все закоулки и все складки обоев. Не найдя ничего, он встал и глубоко перевел дыхание. Подходя давеча уже к крыльцу Бакалеева, ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже бумажка, в которую они были завернуты, с отметкою старухиною рукой, могла как-нибудь тогда проскользнуть и затеряться в какой-нибудь щелочке, а потом вдруг выступить перед ним неожиданною и неотразимою уликой.

Он стоял как бы в задумчивости, и странная, приниженная, полубесмысленная улыбка бродила на губах его. Он взял наконец фуражку и тихо вышел из комнаты. Мысли его путались. Задумчиво сошел он под ворота.

– Да вот они сами! – крикнул громкий голос; он поднял голову.

Дворник стоял у дверей своей каморки и указывая прямо на него какому-то невысокому человеку, с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата, в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его, в засаленной фуражке, свешивалась вниз, да и весь он был точно сторбленный. Дряблое, морщинистое лицо его показывало за пятьдесят; маленькие, заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием.

– Что такое? – спросил Раскольников, подходя к дворнику.

Мещанин скосил на него глаза исподлобья и оглядел его пристально и внимательно, не спеша; потом медленно повернулся и, ни слова не сказав, вышел из ворот дома на улицу.

– Да что такое! – вскричал Раскольников.

– Да вот какой-то спрашивал, здесь ли студент живет, вас называл, у кого проживаете. Вы тут сошли, я показал, а он и пошел. Вишь ведь.

Дворник тоже был в некотором недоумении, а впрочем не очень, и капельку подумав еще, повернулся и полез обратно в свою каморку.

Раскольников бросился вслед за мещанином и тотчас же увидел его, идущего по другой стороне улицы, прежним ровным и неспешным шагом, уткнув глаза в землю и как бы что-то обдумывая. Он скоро догнал его, но некоторое время шел сзади; наконец поровнялся с ним и заглянул ему сбоку в лицо. Тот тотчас же заметил его, быстро оглядел, но опять опустил глаза, и так шли они с минуту, один подле другого и не говоря ни слова.

– Вы меня спрашивали... у дворника? – проговорил наконец Раскольников, но как-то очень негромко.

Мещанин не дал никакого ответа и даже не поглядел. Опять помолчали.

– Да что вы... приходите спрашивать... и молчите... да что же это такое? – Голос Раскольникова прерывался, и слова как-то не хотели ясно выговариваться.

Мещанин на этот раз поднял глаза и зловецим, мрачным взглядом посмотрел на Раскольникова.

– Убивец! – проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом...

Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло; потом вдруг застучало, точно с крючка сорвалось. Так прошли они шагов сотню, рядом и опять совсем молча.

Мещанин не глядел на него.

– Да что вы... что... кто убийца? – пробормотал Раскольников едва слышно.

– Ты убивец, – произнес тот, еще раздельнее и внушительнее и как бы с улыбкой какого-то ненавистного торжества, и опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза. Оба подошли тогда к перекрестку. Мещанин повернул в улицу налево и пошел не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя уже шагов с пятьдесят, обернулся и посмотрел на него, все еще стоявшего неподвижно на том же месте. Разглядеть нельзя

было, но Раскольникову показалось, что тот и в этот раз улыбнулся своею холодно-ненавистною и торжествующею улыбкой.

Тихим, ослабевшим шагом, с дрожащими коленами и как бы ужасно озябший воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол и минут десять стоял подле, неподвижно. Затем в бессилии лег на диван и болезненно, с слабым стоном, протянулся на нем; глаза его были закрыты. Так пролежал он с полчаса.

Он ни о чем не думал. Так, были какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то представления, без порядка и связи, – лица людей, виденных им еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз и об которых он никогда бы и не вспомнил; колокольня В-й церкви; бильярд в одном трактире и какой-то офицер у бильярда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов... Предметы сменялись и крутились, как вихрь. Иные ему даже нравились, и он цеплялся за них, но они погасали, и вообще что-то давило его внутри, но не очень. Иногда даже было хорошо... Легкий озноб не проходил, и это тоже было почти хорошо ощущать.

Он услышал поспешные шаги Разумихина и голос его, закрыл глаза и притворился спящим. Разумихин отворил дверь и некоторое время стоял на пороге, как бы раздумывая. Потом тихо шагнул в комнату и осторожно подошел к дивану. Послышался шепот Настасьи:

– Не замай; пуцай выспится; опосля поест.

– И впрямь, – отвечал Разумихин.

Оба осторожно вышли и притворили дверь. Прошло еще с полчаса. Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь, заломив руки за голову...

"Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он и что видел? Он видел все, это несомненно. Где ж он тогда стоял и откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из-под полу? И как мог он видеть – разве это возможно?.. Гм... – продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая, – а футляр, который нашел Николай за дверью: разве это тоже возможно? Улики? Стотысячную черточку просмотришь – вот и улика в пирамиду египетскую! Муха летала, она видела! Разве этак возможно?"

И он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел.

"Я это должен был знать, – думал он с горькою усмешкой, – и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал!.." – прошептал он в отчаянии.

Порою он останавливался неподвижно перед какою-нибудь мыслью:

"Нет, – те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, – громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры; – а стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!"

Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:

"Наполеон, пирамиды, Ватерлоо – и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, – ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: "полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к старушонке"! Эх, дрянь!.."

Минутами он чувствовал, что как бы бредит: он впадал в лихорадочно-восторженное настроение.

"Старушонка вздор! – думал он горячо и порывисто, – старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался... Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается... Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торговый; "общим счастьем" занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить. Что ж? Я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль, в ожидании "всеобщего счастья". "Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца". Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу... Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, – прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный. – Да, я действительно вошь, – продолжал он, с злорадством прилепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею, – и уж по тому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель, – ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику: из всех вшей выбрал самую наименее полезную"

и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь, по духовному завещанию – ха-ха!)... Потому, потому я окончательно вошь, – прибавил он, скрежеща зубами, – потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью! Да разве с таким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость!.. О, как я понимаю "пророка", с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся "дрожащая тварь"! Прав, прав "пророк", когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и – не желай, потому – не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прощу старушонке!"

Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок.



Между крестом и топором.
Худ. Э. Неизвестный

"Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить... Давеча я подошел и поцеловал мать, я помню... Обнимать и думать, что если б она узнала, то... разве сказать ей тогда? От меня это станется... Гм! она должна быть такая же, как и я, – прибавил он, думая с усилием, как будто борясь с охватывавшим его бредом. – О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется, бы другой раз убил, если б очнулась! Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!.. Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал?.. Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими... Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?.. Они все отдают... глядят кротко и тихо... Соня, Соня!

Тихая Соня!.."

Он забылся; странным показалось ему, что он не помнит, как мог он очутиться на улице. Был уже поздний вечер. Сумерки сгустились, полная

луна светлела все ярче и ярче; но как-то особенно душно было в воздухе. Люди толпой шли по улицам; ремесленники и занятые люди расходились по домам, другие гуляли; пахло известью, пылью, стоячею водой. Раскольников шел грустный и озабоченный: он очень хорошо помнил, что вышел из дому с каким-то намерением, что надо было что-то сделать и поспешить, но что именно – он позабыл. Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре, стоит человек и машет ему рукой. Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. "Да полно, звал ли он?" – подумал Раскольников, однако ж стал догонять. Не доходя шагов десяти, он вдруг узнал его и – испугался; это был давешний мещанин, в таком же халате и так же сгорбленный. Раскольников шел издали; сердце его стучало; повернули в переулок – тот все не оборачивался. "Знает ли он, что я за ним иду?" – думал Раскольников. Мещанин вошел в ворота одного большого дома. Раскольников поскорей подошел к воротам и стал глядеть, не оглянется ли он и не позовет ли его? В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять точно как будто махнул ему. Раскольников тотчас же прошел подворотню, но во дворе мещанина уж не было. Стало быть, он вошел тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. В самом деле, двумя лестницами выше слышались еще чьи-то мерные, неспешные шаги. Странно, лестница была как будто знакомая! Вон окно в первом этаже; грустно и таинственно проходил сквозь стекла лунный свет; вот и второй этаж. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали... Как же он не узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли: "стало быть, он остановился или где-нибудь спрятался". Вот и третий этаж; идти ли дальше? И какая там тишина, даже страшно... Но он пошел. Шум его собственных шагов его пугал и тревожил. Боже, как темно! Мещанин, верно, тут где-нибудь притаился в углу. А! квартира отворена настежь на лестницу, он подумал и вошел. В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто все вынесли; тихонько, на цыпочках прошел он в гостиную: вся комната была ярко облита лунным светом; все тут по-прежнему: стулья, зеркало, желтый диван и картинки в рамках. Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. "Это от месяца такая тишина, – подумал Раскольников, – он, верно, теперь загадку загадывает". Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее стучало его сердце, даже больно становилось. И все тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном, он разглядел как

будто висящий на стене салоп. "Зачем тут салоп? – подумал он, – ведь его прежде не было..." Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидел, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: "боится!" – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, – так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей, двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, на лестнице и туда вниз – всё люди, голова с головой, все смотрят, – но все притаились и ждут, молчат... Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли... Он хотел вскрикнуть и – проснулся.



Смеющаяся старуха.
Худ. Э. Неизвестный

Он тяжело перевел дыхание, – но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал.

Раскольников не успел еще совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся. "Сон это продолжается или нет", – думал он и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться. Вдруг он переступил осторожно через порог, бережно притворил за собой дверь, подошел к столу, подождал с минуту, – все это время не спуская с него глаз, – и тихо, без шума, сел на стул

подле дивана; шляпу поставил сбоку, на полу, а обеими руками оперся на трость, опустив на руки подбородок. Видно было, что он приготовился долго ждать. Сколько можно было разглядеть сквозь мигавшие ресницы,

человек этот был уже немолодой, плотный и с густой, светлой, почти белой бородой...

Прошло минут с десять. Было еще светло, но уже вечерело. В комнате была совершенная тишина. Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло. Наконец это стало невыносимо: Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване.

– Ну, говорите, чего вам надо?

– А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показываете, – странно ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. – Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться...

ЭПИЛОГ

I.

<БОЛЕЗНЬ. СНЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ>

Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его: о! что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе: измучившись на работе физически, он по крайней мере добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища – эти пустые щи с тараканами? Студентом, во время прежней жизни, он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни.

Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но пред кем? Пред Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?

А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда все, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он,



Болезнь.

Худ. Э. Неизвестный

Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред "бессмыслицей" какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя.

Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна непрерывная жертва, которую ничего не приобреталось, – вот что предстояло ему на свете. И что в том, что чрез восемь лет ему будет только тридцать два года и можно снова начать еще жить! Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяние – жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы – ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении.

По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в остроге, на свободе, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.

"Чем, чем, – думал он, – моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? Стоит только посмотреть на дело совершенно независимым, широким и избавленным от обыденных влияний взглядом, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не так... странною. О отрицатели и мудрецы в пятак серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге!

Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? – говорил он себе. – Тем, что он – злодеяние? Что значит слово "злодеяние"? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг".

Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.

Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?

Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь.



Вера и отчаяние.

Худ. Э. Неизвестный

Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостью и ничтожностью). Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся: как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею! Именно ему показалось, что в остроге ее еще более любят и ценят, и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например бродяги! Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? Всматриваясь дальше, он видел примеры,

еще более необъяснимые.

В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза: ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он, как-то поневоле, стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические

преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и холопов и презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ, – один бывший офицер и два семинариста; Раскольников ясно замечал и их ошибку.

Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть – почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее.

– Ты барин! – говорили ему. – Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело.

На второй неделе великого поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, – произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.

– Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! – кричали ему. – Убить тебя надо.

Он никогда не говорил с ними о боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном исступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей – не то пролилась бы кровь.

Неразрешим был для него еще один вопрос: почему все они так полюбили Соню? Она у них не заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она за ним последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только, на рождестве, принесла она на весь острог подаяние: пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли, по указанию их, в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, – все снимали шапки, все кланялись: "Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!" – говорили эти грубые, клейменные каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться.

Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшестввовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спаслись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса.

Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез. Шла уже вторая неделя после Святой; стояли теплые, ясные, весенние дни; в арестантской палате отворили окна (решетчатые, под которыми ходил часовой). Соня, во все время болезни его, могла только два раза его навестить в палате; каждый раз надо было испрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты.

Однажды, под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул; проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдали, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце; он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже; он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит.

Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомила его, что ей гораздо легче, что у ней пустая, легкая простуда и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу, на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебаstra и где толкли его. Отправилось туда всего три работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом; другой стал изготовлять дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в

глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же, наконец, эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она – она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?

Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце; вспомнил ее бедное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания: он знал, какую бесконечную любовью искупит он теперь все ее страдания.

Да и что такое эти все, все муки прошлого! Все, даже преступление его, даже приговор и ссылка, казались ему теперь, в первом порыве, каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое.

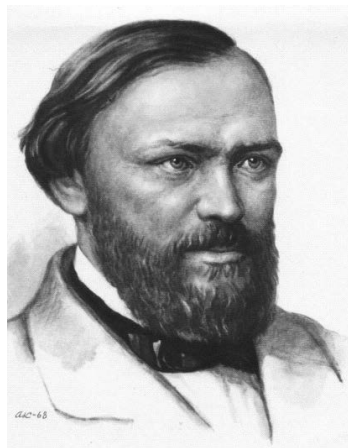
Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к

величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере..."

Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, только семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен.



А. Н. ОСТРОВСКИЙ

БЕСПРИДАННИЦА

ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ (Фрагмент)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ЛИЦА:

Харита Игнатьевна Огудалова, вдова средних лет; одета изящно, но смело и не по летам.

Лариса Дмитриевна, ее дочь, девица; одета богато, но скромно.

Мокий Пармевыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек, с громадным состоянием.

Василий Данилыч Вожеватов, очень молодой человек, один из представителей богатой торговой фирмы; по костюму европеец.

Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник.

Сергей Сергеевич Паратов, блестящий барин, из судовладельцев, лет за 30.

Робинзон.

Гаврило, клубный буфетчик и содержатель кофейной на бульваре.

Иван, слуга в кофейной.

Действие происходит в настоящее время, в большом городе Бряхимове на Волге.

Городской бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой перед кофейной; направо от актеров вход в кофейную, налево – деревья; в глубине низкая чугунная решетка, за ней вид на Волгу, на большое пространство: леса, села и проч.; на площадке столы и стулья: один стол на правой стороне, подле кофейной, другой – на левой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Гаврило стоит в дверях кофейной, Иван приводит в порядок мебель на площадке.

Иван. Никого народу-то нет на бульваре.

Гаврило. По праздникам всегда так. По старине живем: от поздней обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдых.

Иван. Уж и семь! Часика три-четыре. Хорошее это заведение.

Гаврило. А вот около вечереи проснутся, попьют чайку до третьей тоски...

Иван. До тоски! Об чем тосковать-то?

Гаврило. Посиди за самоваром поплотнее, поглотаи часа два кипятку, так узнаешь. После шестого пота она, первая-то тоска, подступает... Расстанутся с чаем и выползут на бульвар раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет: вон Мокий Парменыч Кнуров проминает себя.

Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он себя так утруждает?

Гаврило. Для моциону.

Иван. А моцион-то для чего?

Гаврило. Для аппетита. А аппетит нужен ему для обеда. Какие обеды-то у него! Разве без моциону такой обед съешь?

Иван. Отчего это он все молчит?

Гаврило. "Молчит"! Чудак ты. Как же ты хочешь, чтоб он разговаривал, коли у него миллионы! С кем ему разговаривать? Есть человека два-три в городе, с ними он разговаривает, а больше не с кем; ну, он и молчит. Он и живет здесь не подолгу от этого от самого; да и не жил бы, кабы не дела. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за границу, там ему просторнее.

Иван. А вот Василий Данилыч из-под горы идет. Вот тоже богатый человек, а разговорчив.

Гаврило. Василий Данилыч еще молод; малодушеством занимается; еще мало себя понимает; а в лета войдет, такой же идол будет.

Слева выходит Кнуров и, не обращая внимания на поклоны Гаврилы и Ивана, садится к столу, вынимает из кармана французскую газету и читает. Справа входит Вожеватов.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Кнуров, Вожеватов, Гаврило, Иван.

Вожеватов (*почтительно кланяясь*). Мокий Парменыч, честь имею кланяться!

Кнуров. А! Василий Данилыч! (*Подает руку.*) Откуда?

Вожеватов. С пристани. (*Садится.*)

Гаврило подходит ближе.

Кнуров. Встречали кого-нибудь?

Вожеватов. Встречал, да не встретил. Я вчера от Сергея Сергеича Паратова телеграмму получил. Я у него пароход покупаю.

Гаврило. Не "Ласточку" ли, Василий Данилыч?

Вожеватов. Да, "Ласточку". А что?

Гаврило. Резво бегаёт, сильный пароход.

Вожеватов. Да вот обманул Сергей Сергеич, не приехал.

Гаврило. Вы их с "Самолетом" ждали, а они, может, на своем приедут, на "Ласточке".

Иван. Василий Данилыч, да вон еще пароход бежит сверху.

Вожеватов. Мало ль их по Волге бегаёт.

Иван. Это Сергей Сергеич едут.

Вожеватов. Ты думаешь?

Иван. Да похоже, что они-с... Кожухи-то на "Ласточке" больно приметны.

Вожеватов. Разберешь ты кожухи за семь верст!

Иван. За десять разобрать можно-с... Да и ходко идет, сейчас видно, что с хозяином.

Вожеватов. А далеко?

Иван. Из-за острова вышел. Так и выстилаёт, так и выстилаёт.

Гаврило. Ты говоришь, выстилаёт?

Иван. Выстилаёт. Страсть! Шибче "Самолета" бежит, так и меряет.

Гаврило. Они идут-с.

Вожеватов (*Ивану*). Так ты скажи, как приставасть станут.

Иван. Слушаю-с... Чай, из пушки выпалят.

Гаврило. Беспременно.

Вожеватов. Из какой пушки?

Гаврило. У них тут свои баржи серед Волги на якоре.

Вожеватов. Знаю.

Гаврило. Так на барже пушка есть. Когда Сергея Сергеича встречают или провожают, так всегда палят. (*Взглянув в сторону за кофейную.*) Вон и коляска за ними едет-с, извозчицкая, Чиркова-с! Видно, дали знать Чиркову, что приедут. Сам хозяин, Чирков, на козлах. – Это за ними-с.

Вожеватов. Да почему ты знаешь, что за ними?

Гаврило. Четыре иноходца в ряд, помилуйте, за ними. Для кого же Чирков такую четверню сберет! Ведь это ужаси смотреть... как львы... все четыре на трензелях! А сбруя-то, сбруя-то! – За ними-с.

Иван. И цыган с Чирковым на козлах сидит, в парадном казакине, ремнем перетянут так, что, того и гляди, переломится.

Гаврило. Это за ними-с. Некому больше на такой четверке ездить. Они-с.

Кнуров. С шиком живет Паратов.

Вожеватов. Уж чего другого, а шику довольно.

Кнуров. Дешево пароход-то покупаете?

Вожеватов. Дешево, Мокий Парменыч.

Кнуров. Да, разумеется; а то, что за расчет покупать. Зачем он продает?

Вожеватов. Знать, выгоды не находит.

Кнуров. Конечно, где ж ему! Не барское это дело. Вот вы выгоду найдете, особенно коли дешево-то купите.

Вожеватов. Нам кстати: у нас на низу грузу много.

Кнуров. Не деньги ль понадобились? Он ведь мотоват.

Вожеватов. Его дело. Деньги у нас готовы.

Кнуров. Да, с деньгами можно дела делать, можно. (*С улыбкой.*) Хорошо тому, Василий Данилыч, у кого денег-то много.

Вожеватов. Дурное ли дело! Вы сами, Мокий Парменыч, это лучше всякого знаете. <...>

Кнуров. Едете в Париж-то на выставку?

Вожеватов. Вот куплю пароход да отправлю его вниз за грузом и поеду.

Кнуров. И я на днях, уж меня ждут.

Гаврило приносит на подносе два чайника с шампанским и два стакана.

Вожеватов (наливая). Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса Дмитриевна замуж выходит.

Кнуров. Как замуж? Что вы! За кого?

Вожеватов. За Карандышева.

Кнуров. Что за вздор такой! Вот фантазия! Ну что такое Карандышев! Не пара ведь он ей, Василий Данилыч.

Вожеватов. Какая уж пара! Да что ж делать-то, где взять женихов-то? Ведь она бесприданница.

Кнуров. Бесприданницы-то и находят женихов хороших.

Вожеватов. Не то время. Прежде женихов-то много было, так и на бесприданниц хватало; а теперь женихов-то в самый обрез: сколько приданных, столько и женихов, лишних нет – бесприданницам-то и недостает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Карандышева, кабы лучше были?

Кнуров. Бойкая женщина.

Вожеватов. Она, должно быть, не русская.

Кнуров. Отчего?

Вожеватов. Уж очень проворна.

Кнуров. Как это она оплошала? Огудаловы все-таки фамилия порядочная; и вдруг за какого-то Карандышева... Да с ее-то ловкостью... всегда полон дом холостых!..

Вожеватов. Ездить-то к ней все ездят, потому что весело очень: барышня хорошенькая, играет на разных инструментах, поет, обращение свободное, оно и тянет. Ну, а жениться-то надо подумавши.

Кнуров. Ведь выдала же она двух.

Вожеватов. Выдать-то выдала, да надо их спросить, сладко ли им жить-то. Старшую увез какой-то горец, кавказский князек. Вот потеха-то была! Как увидал, затрясся, заплакал даже – так две недели и стоял подле нее, за кинжал держался да глазами сверкал, чтоб не подходил никто. Женился и уехал, да, говорят, не довез до Кавказа-то, зарезал на дороге от ревности. Другая тоже за какого-то иностранца вышла, а он после оказался совсем не иностранец, а шулер.

Кнуров. Огудалова разочла не глупо: состояние большое, давать приданое не из чего, так она живет открыто, всех принимает.

Вожеватов. Любит и сама пожить весело. А средства у нее так невелики, что даже и на такую жизнь недостает...

Кнуров. Где ж она берет?

Вожеватов. Женихи платятся. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливайся. Потом на приданое возьмет с жениха, а приданого не спрашивай.

Кнуров. Ну, думаю, не одни женихи платятся, а и вам, например, частое посещение этого семейства недешево обходится.

Вожеватов. Не разорюсь, Мокий Парменыч. Что делать! За удовольствия платить надо, они даром достаются, а бывать у них в доме – большое удовольствие

Кнуров. Действительно удовольствие – это в правду говорите.

Вожеватов. А сами почти никогда не бываете.

Кнуров. Да неловко; много у них всякого сброду бывает; потом встречаются, кланяются, разговаривать лезут! Вот, например, Карандышев – ну что за знакомство для меня!

Вожеватов. Да, у них в доме на базар похоже.

Кнуров. Ну, что хорошего! Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями, так и жужжат, не дают с ней слово сказать. Приятно с ней одной почаще видеться, без помехи.

Вожеватов. Жениться надо.

Кнуров. Жениться! Не всякому можно, да не всякий и захочет; вот я, например, женатый.

Вожеватов. Так уж нечего делать. Хорош виноград, да зелен, Мокий Парменыч.

Кнуров. Вы думаете?

Вожеватов. Видимое дело. Не таких правил люди: мало ль случаев-то было, да вот не польстились, хоть за Карандышева, да замуж.

Кнуров. А хорошо бы с такой барышней в Париж прокатиться на выставку.

Вожеватов. Да, не скучно будет, прогулка приятная. Какие у вас планы-то, Мокий Парменыч!

Кнуров. Да и у вас этих планов-то не было ли тоже?

Вожеватов. Где мне! Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет: воспитание, знаете, такое, уж очень нравственное, патриархальное получил.

Кнуров. Ну да, толкуйте! У вас шансов больше моего: молодость – великое дело. Да и денег не пожалеете; дешево пароход покупаете, так из барышей-то можно. А ведь, чай, не дешевле "Ласточки" обошлось бы?

Вожеватов. Всякому товару цена есть, Мокий Парменыч. Я хоть молод, а не зарвусь, лишнего не передам.

Кнуров. Не ручайтесь! Долго ли с вашими годами влюбиться; а уж тогда какие расчеты!

Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменыч, в себе этого совсем не замечаю.

Кнуров. Чего?

Вожеватов. А вот, что любовью-то называют.

Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете. А все-таки вы с ней гораздо ближе, чем другие.

Вожеватов. Да в чем моя близость? Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которых девушкам читать не дают.

Кнуров. Развращаете, значит, понемножку.

Вожеватов. Да мне что! Я ведь насильно не навязываю. Что ж мне об ее нравственности заботиться: я ей не опекун.

Кнуров. Я все удивляюсь, неужели у Ларисы Дмитриевны, кроме Карандышева, совсем женихов не было?

Вожеватов. Были, да ведь она простовата.

Кнуров. Как простовата? То есть глупа?

Вожеватов. Не глупа, а хитрости нет, не в матушку. У той все хитрость да лесть, а эта вдруг, ни с того ни с сего, и скажет, что не надо.

Кнуров. То есть правду?

Вожеватов. Да, правду; а бесприданницам так нельзя. К кому расположена, нисколько этого не скрывает. Вот Сергей Сергеич Паратов в прошлом году, появился, наглядеться на него не могла; а он месяца два поездил, женихов всех отбил, да и след его простыл, исчез, неизвестно куда.

Кнуров. Что ж с ним сделалось?

Вожеватов. Кто его знает; ведь он мудреный какой-то. А уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Какая чувствительная! *(Смеется.)* Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила.

Кнуров. А после Паратова были женихи?

Вожеватов. Набегали двое: старик какой-то с подагрой да разбогатевший управляющий какого-то князя, вечно пьяный. Уж Ларисе не до них, а любезничать надо было, маменька приказывает.

Кнуров. Однако положение ее незавидное.

Вожеватов. Да, смешно даже. У ней иногда слезенки на глазах, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велит. Потом вдруг проявился этот кассир... Вот бросал деньгами-то, так и засыпал Хариту Игнатьевну. Отбил всех, да недолго покуражился: у них в доме его и арестовали. Скандалище здоровый! *(Смеется.)* С месяц Огудаловым никуда глаз

показать было нельзя. Тут уж Лариса наотрез матери объявила: "Довольно, – говорит, – с нас сраму-то; за первого пойду, кто посватается, богат ли, беден ли – разбирать не буду". А Карандышев и тут как тут с предложением.

Кнуров. Откуда взялся этот Карандышев?

Вожеватов. Он давно у них в доме вертится, года три. Гнать не гнали, а и почету большого не было. Когда перемежка случалась, никого из богатых женихов в виду не было, так и его придерживали, слегка приглашивали, чтоб не совсем пусто было в доме. А как, бывало, набезит какой-нибудь богатенький, так просто жалость было смотреть на Карандышева: и не говорят с ним, и не смотрят на него. А он-то, в углу сидя, разные роли разыгрывает, дикие взгляды бросает, отчаянным прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего, только насмешил всех. А то вот потеха-то: был у них как-то, еще при Паратове, костюмированный вечер; так Карандышев оделся разбойником, взял в руки топор и бросал на всех зверские взгляды, особенно на Сергея Сергеича.

Кнуров. И что же?

Вожеватов. Топор отняли и переодеться велели; а то, мол, пошел вон!

Кнуров. Значит, он за постоянство награжден. Рад, я думаю.

Вожеватов. Еще как рад-то, сияет, как апельсин. Что смеху-то! Ведь он у нас чудак. Ему бы жениться поскорей да уехать в свое именишко, пока разговоры утихнут, – так и Огудаловым хотелось, – а он таскает Ларису на бульвар, ходит с ней под руку, голову так высоко поднял, что, того и гляди, наткнется на кого-нибудь. Да еще очки надел зачем-то, а никогда их не носил. Кланяется – едва кивает; тон какой взял: прежде и не слышать его было, а теперь все "я да я, я хочу, я желаю".

Кнуров. Как мужик русский: мало радости, что пьян, надо поломаться, чтоб все видели; поломается, поколотят его раза два, ну, он и доволен, и идет спать.

Вожеватов. Да, кажется, и Карандышеву не миновать.

Кнуров. Бедная девушка! как она страдает, на него глядя, я думаю.

Вожеватов. Квартиру свою вздумал отделявать, – вот чудит-то. В кабинете ковер грошевый на стену прибил, кинжалов, пистолетов тульских навешал: уж диви бы охотник, а то и ружья-то никогда в руки не брал. Тащит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь: человек самолюбивый, завистливый. Лошадь из деревни выписал, клячу какую-то разношерстную, кучер маленький, а кафтан на нем с большого. И возит на этом верблюде-то Ларису Дмитриевну; сидит так гордо, будто на тысячных рысаках едет. С бульвара выходит, так кричит городовому: "Прикажи

подавать мой экипаж!" Ну, и подъезжает этот экипаж с музыкой: все винты, все гайки дребезжат на разные голоса, а рессоры-то трепещутся, как живые.

Кнуров. Жаль бедную Ларису Дмитриевну! Жаль.

Вожеватов. Что вы очень жалостливы стали?

Кнуров. Да разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Дорогой бриллиант дорогой и оправы требует.

Вожеватов. И хорошего ювелира.

Кнуров. Совершенную правду вы сказали. Ювелир – не простой мастеровой: он должен быть художником. В нищенской обстановке, да еще за дураком мужем, она или погибнет, или опозлится.

Вожеватов. А я так думаю, что бросит она его скорехонько. Теперь еще она, как убитая; а вот оправится да поглядит на мужа попристальнее, каков он... (*Тихо.*) Вот они, легки на помине-то.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ ЛИЦА:

Паратов.

Кнуров.

Вожеватов.

Робинзон.

Лариса.

Карандышев.

Илья.

Гаврило.

Иван.

Цыгане и цыганки. Декорация первого действия. Светлая летняя ночь.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ *Кнуров и Вожеватов.*

Кнуров. Кажется, драма начинается.

Вожеватов. Похоже.

Кнуров. Я уж у Ларисы Дмитриевны слезки видел.

Вожеватов. Да ведь у них дешевы.

Кнуров. Как хотите, а положение ее незавидное.

Вожеватов. Дело обойдется как-нибудь.

Кнуров. Ну, едва ли.

Вожеватов. Карандышев посердится немножко, поломается, сколько ему надо, и опять тот же будет.

Кнуров. Да она-то не та же. Ведь чтоб бросить жениха чуть не накануне свадьбы, надо иметь основание. Вы подумайте: Сергей Сергеич приехал на один день, и она бросает для него жениха, с которым ей жить всю жизнь. Значит, она надежду имеет на Сергея Сергеича; иначе зачем он ей!

Вожеватов. Так вы думаете, что тут не без обмана, что он опять словами поманил ее?

Кнуров. Да непременно. И, должно быть, обещания были определенные и серьезные; а то как бы она поверила человеку, который уж раз обманул ее!

Вожеватов. Мудреного нет; Сергей Сергеич ни над чем не задумается: человек смелый,

Кнуров. Да ведь как ни смел, а миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет.

Вожеватов. Еще бы! что за расчет!

Кнуров. Так посудите, каково ей, бедной!

Вожеватов. Что делать-то! мы не виноваты, наше дело сторона.

На крыльце кофейной показывается Робинзон.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Вожеватов. А, милорд! Что во сне видел?

Робинзон. Богатых дураков; то же, что и наяву вижу.

Вожеватов. Ну, как же ты, бедный умник, здесь время проводишь?

Робинзон. Превосходно. Живу в свое удовольствие и притом в долг, на твой счет. Что может быть лучше!

Вожеватов. Позавидуешь тебе. И долго ты намерен наслаждаться такой приятной жизнью?

Робинзон. Да ты чудак, я вижу. Ты подумай: какой же мне расчет отказываться от таких прелестей!

Вожеватов. Что-то я не помню: как будто я тебе открытого листа не давал?

Робинзон. Так ты в Париж обещал со мной ехать – разве это не все равно?

Вожеватов. Нет, не все равно! Что я обещал, то исполню; для меня слово – закон, что сказано, то свято. Ты спроси: обманывал ли я кого-нибудь?

Робинзон. А покуда ты собираешься в Париж, не воздухом же мне питаться?

Вожеватов. Об этом уговору не было. В Париж хоть сейчас.

Робинзон. Теперь поздно; поедem, Вася, завтра.

Вожеватов. Ну, завтра, так завтра. Послушай, вот что: поезжай лучше ты один, я тебе прогоны выдам взад и вперед.

Робинзон. Как один? Я дороги не найду.

Вожеватов. Довезут.

Робинзон. Послушай, Вася, я по-французски не совсем свободно... Хочу выучиться, да все времени нет.

Вожеватов. Да зачем тебе французский язык?

Робинзон. Как же, в Париже да по-французски не говорить?

Вожеватов. Да и не надо совсем, и никто там не говорит по-французски.

Робинзон. Столица Франции, да чтоб там по-французски не говорили! Что ты меня за дурака, что ли, считаешь?

Вожеватов. Да какая столица! Что ты, в уме ли? О каком Париже ты думаешь? Трактир у нас на площади есть "Париж", вот я куда хотел с тобой ехать.

Робинзон. Браво, браво!

Вожеватов. А ты полагал, в настоящий? Хоть бы ты немножко подумал. А еще умным человеком считаешь себя! Ну, зачем я тебя туда возьму, с какой стати? Клетку, что ли, сделать да показывать тебя?

Робинзон. Хорошей ты школы, Вася, хорошей; серьезный из тебя негоциант выйдет.

Вожеватов. Да ничего; я стороной слышал, одобряют.

Кнуров. Василий Данилыч, оставьте его! Мне нужно вам сказать кой-что.

Вожеватов (*подходя*). Что вам угодно?

Кнуров. Я все думал о Ларисе Дмитриевне. Мне кажется, она теперь находится в таком положении, что нам, близким людям, не только позволительно, но мы даже обязаны принять участие в ее судьбе.

Робинзон прислушивается.

Вожеватов. То есть вы хотите сказать, что теперь представляется удобный случай взять ее с собой в Париж?

Кнуров. Да, пожалуй, если угодно: это одно и то же.

Вожеватов. Так за чем же дело стало? Кто мешает?

Кнуров. Вы мне мешаете, а я вам. Может быть, вы не боитесь соперничества? Я тоже не очень опасаюсь; а все-таки неловко, беспокойно; гораздо лучше, когда поле чисто.

Вожеватов. Отступного я не возьму, Мокий Парменыч.

Кнуров. Зачем отступное? Можно иначе как-нибудь.

Вожеватов. Да вот, лучше всего, (*Вынимает из кармана монету и кладет под руку.*) Орел или решетка?

Кнуров (*в раздумье*). Если скажу: орел, так проиграю; орел, конечно, вы. (*Решительно.*) Решетка.

Вожеватов (*поднимая руку*). Ваше. Значит, мне одному в Париж ехать. Я не в убытке; расходов меньше.

Кнуров. Только, Василий Данилыч, давши слово, держись; а не давши, крепись! Вы купец, вы должны понимать, что значит слово.

Вожеватов. Вы меня обижаете. Я сам знаю, что такое купеческое слово. Ведь я с вами дело имею, а не с Робинзоном.

Кнуров. Вон Сергей Сергеич идет с Ларисой Дмитриевной! Войдемте в кофейную, не будем им мешать.

Кнуров и Вожеватов уходят в кофейную. Входят Паратов и Лариса.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Паратов, Лариса и Робинзон.

Лариса. Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу взошла на гору. (*Садится в глубине сцены на скамейку у решетки.*)

Паратов. А, Робинзон! Ну, что ж ты, скоро в Париж едешь?

Робинзон. С кем это? С тобой, ля-Серж, куда хочешь, а уж с купцом я не поеду. Нет, с купцами кончено.

Паратов. Что так?

Робинзон. Невежи!

Паратов. Будто? Давно ли ты догадался?

Робинзон. Всегда знал. Я всегда за дворян.

Паратов. Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! Время просвещенных покровителей, время меценатов прошло; теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота ценится, в полном смысле наступает золотой век. Но, уж не взыщи, подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы, для собственного удовольствия, прокатят – на какого Медичиса нападешь. Не отлучайся, ты мне будешь нужен!

Робинзон. Для тебя в огонь и в воду. (*Уходит в кофейную.*)

Паратов (*Ларисе*). Позвольте теперь поблагодарить вас за удовольствие – нет, этого мало, – за счастье, которое вы нам доставили.

Лариса. Нет, нет, Сергей Сергеич, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я – жена ваша или нет?

Паратов. Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно ехать домой. Поговорить обстоятельно мы еще успеем завтра.

Лариса. Я не поеду домой.

Паратов. Но и здесь оставаться вам нельзя. Прокатиться с нами по Волге днем – это еще можно допустить; но кутить всю ночь в трактире, в центре города, с людьми, известными дурным поведением! Какую пищу вы дадите для разговоров.

Лариса. Что мне за дело до разговоров! С вами я могу быть везде. Вы меня увезли, вы и должны привезти меня домой.

Паратов. Вы поедете на моих лошадях – разве это не все равно?

Лариса. Нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха, маменька видела, как мы уехали – она не будет беспокоиться, как бы поздно мы ни возвратились... Она покойна, она уверена в вас, она только будет ждать нас, ждать... чтоб благословить. Я должна или приехать с вами, или совсем не являться домой.

Паратов. Что такое? Что значит: "совсем не являться"? Куда деться вам?

Лариса. Для несчастных людей много простора в божьем мире: вот сад, вот Волга. Здесь на каждом сучке удавиться можно, на Волге – выбирай любое место. Везде утопиться легко, если есть желание да сил достанет.

Паратов. Какая экзальтация! Вам можно жить и должно. Кто откажет вам в любви, в уважении! Да тот же ваш жених: он будет радехонек, если вы опять его приласкаете.

Лариса. Что вы говорите! Я мужа своего если уж не любить, так хоть уважать должна; а как я могу уважать человека, который равнодушно сносит насмешки и всевозможные оскорбления! Это дело кончено: он для меня не существует. У меня один жених: это вы.

Паратов. Извините, не обижайтесь на мои слова! Но едва ли вы имеете право быть так требовательными ко мне.

Лариса. Что вы говорите! Разве вы забыли? Так я вам опять повторю все с начала. Я год страдала, год не могла забыть вас, жизнь стала для меня пуста; я решилась, наконец, выйти замуж за Карандышева, чуть не за первого встречного. Я думала, что семейные обязанности наполнят мою жизнь и помирят меня с ней. Явились вы и говорите: "Брось все, я твой". Разве это не право? Я думала, что ваше слово искренне, что я его выстрадала.

Паратов. Все это прекрасно, и обо всем мы с вами потолкуем завтра.

Лариса. Нет, сегодня, сейчас.

Паратов. Вы требуете?

Лариса. Требую.

В дверях кофейной видны Кнуров и Вожеватов.

Паратов. Извольте. Послушайте, Лариса Дмитриевна! Вы допускаете мгновенное увлечение?

Лариса. Допускаю. Я сама способна увлечься.

Паратов. Нет, я не так выразился; допускаете ли вы, что человек, скованный по рукам и по ногам неразрывными цепями, может так увлечься, что забудет все на свете, забудет и гнетущую его действительность, забудет и свои цепи?

Лариса. Ну, что же! И хорошо, что он забудет.

Паратов. Это душевное состояние очень хорошо, я с вами не спорю; но оно непродолжительно. Угар страстного увлечения скоро проходит, остаются цепи и здравый рассудок, который говорит, что этих цепей разорвать нельзя, что они неразрывны.

Лариса (*задумчиво*). Неразрывные цепи! (Быстро.) Вы женаты?

Паратов. Нет.

Лариса. А всякие другие цепи – не помеха! Будем носить их вместе, я разделю с вами эту ношу, большую половину тяжести я возьму на себя.

Паратов. Я обручен.

Лариса. Ах!

Паратов (*показывая обручальное кольцо*). Вот золотые цепи, которыми я скован на всю жизнь.

Лариса. Что же вы молчали? Безбожно, безбожно! (*Садится на стул.*)

Паратов. Разве я в состоянии был помнить что-нибудь! Я видел вас, и ничего более для меня не существовало.

Лариса. Поглядите на меня!

Паратов смотрит на нее.

В глазах, как на небе, светло..." Ха, ха, ха! (*Истерически смеется.*) Подите от меня! Довольно! Я уж сама об себе подумаю. (*Опирает голову на руку.*)

Кнуров, Вожеватов и Робинзон выходят на крыльцо кофейной.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Паратов, Лариса, Кнуров, Вожеватов и Робинзон.

Паратов (*подходя к кофейной*). Робинзон, поди сыщи мою коляску! Она тут у бульвара. Ты свезешь Ларису Дмитриевну домой.

Робинзон. Ля-Серж! Он тут, он ходит с пистолетом.

Паратов. Кто "он"?

Робинзон. Карандышев.

Паратов. Так что ж мне за дело!

Робинзон. Он меня убьет.

Паратов. Ну, вот, велика важность! Исполниай, что приказывают! Без рассуждений! Я этого не люблю, Робинзон.

Робинзон. Я тебе говорю: как он увидит меня с ней вместе, он меня убьет.

Паратов. Убьет он тебя или нет – это еще неизвестно; а вот если ты не исполнишь сейчас же того, что я тебе приказываю, так я тебя убью уж наверное. *(Уходит в кофейную.)*

Робинзон, *(грозя кулаком).* О, варвары, о, разбойники! Ну, попал я в компанию! *(Уходит.)*

Вожеватов подходит к Ларисе.

Лариса *(взглянув на Вожеватова).* Вася, я погибаю!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, голубушка моя! Что делать-то? Ничего не поделаешь.

Лариса. Вася, мы с тобой с детства знакомы, почти родные; что мне делать – научи!

Вожеватов. Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы... я ничего не могу. Верьте моему слову!

Лариса. Да я ничего и не требую от тебя; я прошу только пожалеть меня. Ну, хоть поплачь со мной вместе!

Вожеватов. Не могу, ничего не могу.

Лариса. Иу тебя тоже цепи?

Вожеватов. Кандалы, Лариса Дмитриевна.

Лариса. Какие?

Вожеватов. Честное купеческое слово. *(Отходит в кофейную.)*

Кнуров *(подходит к Ларисе).* Лариса Дмитриевна, послушайте меня и не обижайтесь! У меня и в помышлении нет вас обидеть. Я только желаю вам добра и счастья, чего вы вполне заслуживаете. Не угодно ли вам ехать со мной в Париж на выставку?

Лариса отрицательно качает головой.

И полное обеспечение на всю жизнь?

Лариса молчит.

Стыда не бойтесь, осуждений не будет. Есть границы, за которые осуждение не переходит: я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разинуть рты от удивления.

Лариса поворачивает голову в другую сторону.

Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вам руку, но я женат.

Лариса молчит.

Вы расстроены, я не смею торопить вас ответом. Подумайте! Если вам будет угодно благосклонно принять мое предложение, известите меня, и с той минуты я сделаюсь вашим самым преданным слугой и самым точным исполнителем всех ваших желаний и даже капризов, как бы они странны и дороги ни были. Для меня невозможного мало. *(Почтительно кланяется и уходит в кофейную.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Лариса одна.

Лариса. Я давеча смотрела вниз через решетку, у меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так, говорят... верная смерть. *(Подумав.)* Вот хорошо бы броситься! Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь... Да, это лучше... в беспамятстве, ни боли... ничего не будешь чувствовать! *(Подходит к решетке и смотрит вниз. Нагибается, крепко хватается за решетку, потом с ужасом отбегает.)* Ой, ой! Как страшно! *(Чуть не падает, хватается за беседку.)* Какое головокружение! Я падаю, падаю, ай! *(Садится у стола подле беседки.)* Ох, нет... *(Сквозь слезы.)* Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил! Вот я какая несчастная! А ведь есть люди, для которых это легко. Видно, уж тем совсем жить нельзя; их ничто не прельщает, им ничто не мило, ничего не жалко. Ах, что я!.. Да ведь и мне ничто не мило, и мне жить нельзя, и мне жить незачем! Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? *(Задумывается.)* Ах, нет, нет... Не Кнуров... роскошь, блеск... нет, нет... я далека от суеты... *(Вздвигнув.)* Разврат... ох, нет... Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно. Какая я жалкая, несчастная. Кабы теперь меня убил кто-нибудь... Как хорошо умереть... пока еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть... Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне!.. Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть... Ах, как дурно, как кружится голова. *(Подпирает голову рукой и сидит в забытьи.)*

Входят Робинзон и Карандышев.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Лариса, Робинзон и Карандышев.

Карандышев. Вы говорите, что вам велено отвезти ее домой?

Робинзон. Да-с, велено.

Карандышев. И вы говорили, что они оскорбили ее?

Робинзон. Уж чего еще хуже, чего обиднее!

Карандышев. Она сама виновата: ее поступок заслуживал наказания. Я ей говорил, что это за люди; наконец она сама могла, сама имела время заметить разницу между мной и ими. Да, она виновата, но судить ее, кроме меня, никто не имеет права, а тем более оскорблять. Это уж мое дело: прошу я ее или нет; но защитником ее я обязан явиться. У ней нет ни братьев, ни близких; один я, только один я обязан вступить за нее и наказать оскорбителей. Где она?

Робинзон. Она здесь была. Вот она!

Карандышев. При нашем объяснении посторонних не должно быть; вы будете лишний. Оставьте нас!

Робинзон. С величайшим удовольствием. Я скажу, что вам сдал Ларису Дмитриевну. Честь имею кланяться! (*Уходит в кофейную.*)

Карандышев подходит к столу и садится против Ларисы.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Лариса и Карандышев.

Лариса (*поднимая голову*). Как вы мне противны, кабы вы знали! Зачем вы здесь?

Карандышев. Где же быть мне?

Лариса. Не знаю. Где хотите, только не там, где я.

Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отметить за ваше оскорбление.

Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление – это ваше покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений мне не было.

Карандышев. Уж вы слишком невзыскательны. Кнуров и Вожеватов мечут жеребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку – и это не оскорбление? Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас, как на женщину, как на человека, – человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас, как на вещь. Ну, если вы вещь, – это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может.

Лариса (*глубоко оскорбленная*). Вещь... да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя... я вещь! (*С горячностью*.) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прощу вас, оставьте меня!

Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого я вас оставлю?

Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину.

Карандышев (*с жаром*). Я беру вас, я ваш хозяин. (*Хватает ее за руку*.)

Лариса (*оттолкнув его*). О, нет! Каждой вещи своя цена есть... Ха, ха, ха... я слишком, слишком дорога для вас.

Карандышев. Что вы говорите! мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?

Лариса (*со слезами*). Уж если быть вещью, так одно, утешение – быть дорогой, очень дорогой. Сослужите мне последнюю службу: подите пошлите ко мне Кнурова.

Карандышев. Что вы, что вы, опомнитесь!

Лариса. Ну, так я сама пойду.

Карандышев. Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас прощаю, я все прощаю.

Лариса (*с горькой улыбкой*). Вы мне прощаете? Благодарю вас. Только я-то себе не прощаю, что вздумала связать судьбу свою с таким ничтожеством, как вы.

Карандышев. Уедемте, уедемте сейчас из этого города, я на все согласен.

Лариса. Поздно. Я вас просила взять меня поскорей из цыганского табора, вы не умели этого сделать; видно, мне жить и умереть в цыганском таборе.

Карандышев. Ну, я вас умоляю, осчастливьте меня.

Лариса. Поздно. Уж теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты.

Карандышев. Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас.

Лариса (*с отвращением*). Подите, вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня.

Карандышев. Скажите же: чем мне заслужить любовь вашу? (*Падает на колени*.) Я вас люблю, люблю.

Лариса. Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не старался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного

слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла... ее нет на свете... нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.

Карандышев (*вставая*). О, не раскайтесь! (*Кладет руку за борт сюртука.*) Вы должны быть моей.

Лариса. Чьей ни быть, но не вашей.

Карандышев (*запальчиво*). Не моей?

Лариса. Никогда!

Карандышев. Так не доставайся ж ты никому! (*Стреляет в нее из пистолета.*)

Лариса (*хватаясь за грудь*). Ах! Благодарю вас! (*Опускается на стул.*)

Карандышев. Что я, что я... ах, безумный! (*Роняет пистолет.*)

Лариса (*нежно*). Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама... сама. Ах, какое благодеяние... (*Поднимает пистолет и кладет на стол.*)

Из кофейной выходят Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило и Иван.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Гаврило и Иван.

Все. Что такое, что такое?

Лариса. Это я сама... Никто не виноват, никто... Это я сама.

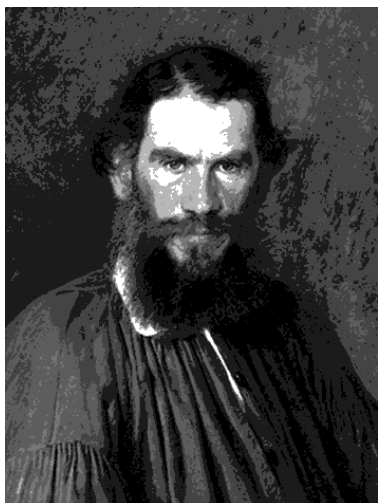
За сценой цыгане запевают песню.

Паратов. Велите замолчать! Велите замолчать!

Лариса (*постепенно слабеющим голосом*). Нет, незачем... Пусть веселятся, кому весело... Я не хочу мешать никому! Живите, живите все! Вам надо жить, а мне надо... умереть... Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь... вы все хорошие люди... я вас всех... всех люблю. (*Посылает поцелуй.*)

Громкий хор цыган.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ XIX – XX ВЕКОВ



Л.Н. ТОЛСТОЙ

ВОЙНА И МИР
(фрагменты)

ТОМ I. ЧАСТЬ I.
VII

<ИМЕНИНЫ У РОСТОВЫХ>

У Ростовых были именинницы Натальи — мать и меньшая дочь. С утра не переставая подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями,

не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.

Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принятия и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

— Очень, очень вам благодарен, *ma chère* или *mon cher*¹ (*ma chère* или *mon cher* он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как

¹ милая или милый.

выше, так и ниже его стоявшим людям), за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, *mon cher*. Душевно прошу вас от всего семейства, *ma chère*. — Эти слова с одинаким выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые были еще в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развешивавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

— Ну, ну, Митенька, смотри, чтобы все было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то... — И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

— Марья Львовна Карагина с дочерью! — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

— Замучили меня эти визиты, — сказала она. — Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну, уж добивайте».

Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицею улыбающеюся дочкой, шума платьями, вошли в гостиную.

— *Chère comtesse, il y a si longtemps... elle a été alitée, la pauvre enfant... au bal des Razoumovsky... et la comtesse Apraksine... j'ai été si heureuse...*¹ — слышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «*Je suis bien charmée; la santé de maman... et la comtesse*

¹ Уж так давно... Графиня... Больна была бедняжка... на бале Разумовских... графиня Апраксина... я так была рада...

Apraksine»¹, — и опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени — о болезни известного богача и красавца екатерининского времени старого графа Безухова и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

— Я очень жалею бедного графа, — говорила гостья, — здоровье его и так было плохо, а теперь это огорченье от сына. Это его убьет!

— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова.

— Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, — продолжала гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

— Скажите! — сказала графиня.

— Он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. — Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина — того отец как-то замял. Но выслали-таки из Петербурга.

— Да что бишь они сделали? — спросила графиня.

— Это совершенные разбойники, особенно Долохов, — говорила гостья. — Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить; они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

— Хороша, та шиге, фигура квартального, — закричал граф, помирая со смеху.

— Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?

Но дамы невольно смеялись и сами.

— Насилу спасли этого несчастного, — продолжала гостья. — И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! — прибавила она. — А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

¹ Очень, очень рада... здоровье мама... графиня Апраксина.

— Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. — Ведь у него только незаконные дети. Кажется... и Пьер незаконный. Гостья махнула рукой.

— У него их двадцать незаконных, я думаю. Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

— Вот в чем дело, — сказала она значительно и тоже полупшепотом. — Репутация графа Кирилла Владимировича известна... Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.

— Как старик был хорош, — сказала графиня, — еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

— Теперь очень переменился, — сказала Анна Михайловна. — Так я хотела сказать, — продолжала она, — по жене прямой наследник всего имения князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

— Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, — сказала гостья.

— Да, но *entre nous*¹, — сказала княгиня, — это предлог, он приехал, собственно, к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох.

— Однако, *ma chère*, это славная штука, — сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням: — Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. — Так, пожалуйста же, обедать к нам, — сказал он.

VIII

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья

¹ между нами.

поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

— А, вот она! — смеясь, закричал он. — Именинница! Ma chère именинница!

— Ma chère, il y a un temps pour tout¹, — сказала графиня, притворяясь строгою. — Ты ее все балуешь, Elie, — прибавила она мужу.

— Bonjour, ma chère, je vous félicite, — сказала гостья. — Quelle délicieuse enfant!² — прибавила она, обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки.

— Видите?.. Кукла... Мими... Видите.

И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.

— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. — Это моя меньшая, — обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.

Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

¹ Милая, на все есть время.

² Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас... Какое прелестное дитя.

— Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.

Между тем все это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын графа, Соня — пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша — меньшей сын, — все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine¹. Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.

Два молодых человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица. Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими, куклу, он знал еще молодой девицей с не испорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.

— Вы, кажется, тоже хотели ехать, маман? Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.

— Да, поди, поди, вели приготовить, — сказала она, улыбаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей; толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

¹ графине Апраксиной.

IX

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже как большая) и гостыи-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густою черною косою, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжающего в армию cousin с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим cousin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.

— Да, ma chère, — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. — Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет, и меня, старика: идет в военную службу, ma chère. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то? — сказал граф вопросительно.

— Да, ведь война, говорят, объявлена, — сказала гостья.

— Давно говорят, — сказал граф. — Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chère, вот дружба-то! — повторил он. — Он идет в гусары. Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

— Совсем не из дружбы, — отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него наклепа. — Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.

— Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

— Я уж вам говорил, папенька, — сказал сын, — что, ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что никуда не гожусь, кроме

как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, — говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовую заиграть и выказать всю свою кошечью натуру.

— Ну, ну, хорошо! — сказал старый граф. — Все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гости.

Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:

— Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, — сказала она, нежно улыбаясь ему.

Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающеюся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно-озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.

— Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! — сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. — *Cousinage dangereux voisinage*¹, — прибавила она.

— Да, — сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. — Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

— Все от воспитания зависит, — сказала гостя.

— Да, ваша правда, — продолжала графиня. — До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. — Я знаю, что я всегда буду первую

¹ Беда — двоюродные братцы и сестрицы.

confidente¹ моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.

— Да, славные, славные ребята, — подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным. — Вот подите! Захотел в гусары! Да вот, что вы хотите, *ma chère!*

— Какое милое существо ваша меньшая! — сказала Гостья. — Порох!

— Да, порох, — сказал граф. — В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

— Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

— О нет, какой рано! — сказал граф. — Как же наши матери выходили в двенадцать-тринадцать лет замуж?

— Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: — Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей... Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

— Да, меня совсем иначе воспитывали, — сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.

Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

— Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, — сказала гостья.

— Что греха таить: *ma chère!* Графинюшка мудрила с Верой, — сказал граф. — Ну, да что ж! Все-таки славная вышла, — прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.

Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.

— Что за манера! Уж сидели, сидели! — сказала графиня, проводя гостей.

¹советницей.

Х

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда слышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека. Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась. Борис остановился посреди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала.

— Пускай ищет, — сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что-то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой-невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.

— Соня! что с тобою? можно ли это? — сказал Николай, подбегая к ней.

— Ничего, ничего, оставьте меня! — Соня зарыдала.

— Нет, я знаю что.

— Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.

— Соооня! одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии? — говорил Николай, взяв ее за руку.

Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.

Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими глазами смотрела из своей засады. «Что теперь будет?» — думала она.

— Соня! мне весь мир не нужен! Ты одна для меня все, — говорил Николай. — Я докажу тебе.

— Я не люблю, когда ты так говоришь.

— Ну, не буду, ну прости, Соня! — Он притянул ее к себе и поцеловал.

«Ах, как хорошо!» — подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.

— Борис, подите сюда, — сказала она с значительным и хитрым видом. — Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, — сказала она и провела

его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.

— Какая же это одна вещь? — спросил он.

Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.

— Поцелуйте куклу, — сказала она.

Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.

— Не хотите? Ну, так подите сюда, — сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. — Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волнения.

Борис покраснел.

— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи, и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.

— Наташа, — сказал он, — вы знаете, что я люблю вас, но...

— Вы влюблены в меня? — перебила его Наташа.

— Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас... еще четыре года... Тогда я буду просить вашей руки.

Наташа подумала.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... — сказала она, считая по тоненьким пальчикам. — Хорошо! Так кончено?

И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.

— Кончено! — сказал Борис.

— Навсегда? — сказала девочка. — До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.

XI

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной,

которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

— С тобой я буду совершенно откровенна, — сказала Анна Михайловна. — Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожалала руку своему другу.

— Вера, — сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. — Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или...

Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления.

— Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, — сказала она и пошла в свою комнату. Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.

Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.

— Сколько раз я вас просила, — сказала она, — не брать моих вещей, у вас есть своя комната. — Она взяла от Николая чернильницу.

— Сейчас, сейчас, — сказал он, макая перо.

— Вы все умеете делать не вовремя, — сказала Вера. — То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.

Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.

— И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, — все одни глупости.

— Ну, что тебе за дело, Вера? — тихоньким голоском, заступнически проговорила Наташа.

Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.

— Очень глупо, — сказала Вера, — мне совестно за вас. Что за секреты?..

— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, — сказала Наташа, разгорячась.

— Я думаю, не трогаете, — сказала Вера, — потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.

Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, — сказал Борис. — Я не могу жаловаться, — сказал он.

— Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, — сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. — За что она ко мне пристаёт?

— Ты этого никогда не поймешь, — сказала она, обращаясь к Вере, — потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие — делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь, — проговорила она скоро.

— Да уж я, верно, не стану перед гостями бегать за молодым человеком...

— Ну, добилась своего, — вмешался Николай, — наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.

Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.

— Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, — сказала Вера.

— Madame de Genlis! Madame de Genlis! — проговорили смеющиеся голоса из-за двери.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу: глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.

В гостиной продолжался разговор.

— Ah! chère, — говорила графиня, — и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train que nous allons¹ нашего состояния нам ненадолго. И все это клуб и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

— Ах, душа моя! — отвечала княгиня Анна Михайловна. — Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, — продолжала она с некоторой

¹ не все розы... при нашем образе жизни.

гордостью. — Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «Princesse une telle¹ желает видеть такого-то» — и еду сама на извозчике, хоть два, хоть три раза, хоть четыре — до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.

— Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? — спросила графиня. — Ведь вот твой уж офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

— Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, — говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв все унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

— Что он, постарел, князь Василий? — спросила графиня. — Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour², — вспомнила графиня с улыбкой.

— Все такой же, — отвечала Анна Михайловна, — любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas tourné la tête du tout³. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, — он мне говорит, — приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, — продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, — до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, à la lettre⁴ нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. — Она вынула платок и заплакала. — Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении... Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова.

Ежели он не захочет поддержать своего крестника, — ведь он крестил Бору, — и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что-то...

— Часто думаю, может, это и грех, — сказала княгиня, — а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухов живет один... это огромное

¹ Княгиня такая-то.

² Он за мной волочился.

³ Почести не изменили его.

⁴ иногда.

состояние... и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

— Он, верно, оставит что-нибудь Борису, — сказала графиня.

— Бог знает, *chère amie!*¹ Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. — Княгиня поднялась. — Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

— Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери, — пожелай мне успеха, — прибавила она шепотом от сына.

— Вы к графу Кириллу Владимировичу, та *chère*? — сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. — Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал. Зовите непременно, та *chère*. Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет. <...>

XX

<СВИДАНИЕ ПЬЕРА С УМИРАЮЩИМ ОТЦОМ ГРАФОМ БЕЗУХОВЫМ>

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой — огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, не смятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко-зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухова, с тою же седой гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом и с теми же характерно-благородными крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые, большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным

¹ мой друг!

пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катись, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правою, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», — казалось, говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое басовое пение и в минуту молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдениями над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая, княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его; но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли; духовные лица шепотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным, из-за спины пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, — стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда и даже одобряет его, — неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс

и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с нею вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь, но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал все так же, безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, послышались шаги и шепоты, из которых шепот Анны Михайловны выдавался резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

— Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет...

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающею поднимали и переносили.

— За мою руку держись, уронишь так, — послышался ему испуганный шепот одного из слуг, — снизу... еще один, — говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступанья ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поравнялись с молодым человеком, и ему на мгновение из-за спин и затылков людей показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая курчавая львиная голова. Голова эта, с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какую знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись. Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: «Venez»¹. Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой, в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что, покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтобы не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая теперь, что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера, в то время как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекирвленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шепотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

— На другой бочок перевернуться хотят, — прошептал слуга и поднялся, чтобы переверотить лицом к стене тяжелое тело графа.

¹ Пойдемте.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипанье в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

— Il est assoupi¹, — сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. — Allons².

Пьер вышел.

XXI

<СХВАТКА МЕЖДУ АННОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ДРУБЕЦКОЙ И КНЯЗЕМ ВАСИЛИЕМ КУРАГИНЫМ ЗА ПОРТФЕЛЬ>

В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидели Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала:

— Не могу видеть эту женщину.

— Catiche a fait donner du thé dans le petit salon, — сказал князь Василий Анне Михайловне. — Allez, ma pauvre Анна Михайловна, prenez quelque chose, autrement vous ne suffirez pas³.

Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в petit salon⁴.

— Il n'y a rien qui restaure comme une tasse de cet excellent thé russe après une nuit blanche⁵, — говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности,

¹ Он забылся.

² Пойдем.

³ Катишь велела подать чай в маленькую гостиную. Вы бы пошли, бедная Анна Михайловна, подкрепили себя, а то вас не хватит.

⁴ маленькую гостиную.

⁵ Ничто так не восстанавливает после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чаю.

отхлебывая из тонкой, без ручки, китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшей княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом.

— Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно, — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.

— Но, милая княжна, — кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, — не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена...

Князь Василий сидел на кресле, в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу; но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.

— *Voyons, ma bonne* Анна Михайловна, *laissez faire Catiche*¹. Вы знаете, как граф ее любит.

— Я и не знаю, что в этой бумаге, — говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. — Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага...

¹ Да нет же, моя милая Анна Михайловна, оставьте Катишь делать, что она знает.

Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загродила ей дорогу.

— Я знаю, милая, добрая княжна, — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было, она не скоро его пустит. — Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. *Je vous en conjure...*¹

Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую текучесть и мягкость.

— Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете: не правда ли, князь?

— Что же вы молчите, *mon cousin*? — вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услышали и испугались ее голоса. — Что вы молчите, когда здесь Бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего? Интриганка! — прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.

— Oh! — сказал князь Василий укоризненно и удивленно. Он встал. — *C'est ridicule. Voyons*², пустите. Я вам говорю.

Княжна пустила.

— И вы!

Анна Михайловна не послушалась его.

— Пустите, я вам говорю. Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я... довольно вам этого.

— *Mais, mon prince*³, — говорила Анна Михайловна, — после такого великого таинства дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение, — обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василия.

— Помните, что вы будете отвечать за все последствия, — строго сказал князь Василий, — вы не знаете, что вы делаете.

— Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель.

Князь Василий опустил голову и развел руками.

В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.

¹ Я вас умоляю...

² Это смешно. Ну же.

³ Но, князь.

— Что вы делаете! — отчаянно проговорила она. — Il s'en va et vous me laissez seule¹.

Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первая вышла оттуда старшая княжна, с бледным и сухим лицом и прикушенной нижнею губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу.

— Да, радуйтесь теперь, — сказала она, — вы этого ждали.

И, зарыдав, она закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.

— Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть; и в голосе его была искренность и слабость, которых Пьер никогда прежде не замечал в нем. — Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг... Ведь мне... Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. — Он заплакал.

Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими, медленными шагами.

— Пьер!.. — сказала она.

Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала.

— Il n'est plus...²

Пьер смотрел на нее через очки.

— Allons, je vous reconduirai. Tâchez de pleurer. Rien ne soulage comme les larmes³.

Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и, когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.

На другое утро Анна Михайловна говорила Пьеру:

— Oui, mon cher, c'est une grande perte pour nous tous. Je ne parle pas de vous. Mais Dieu vous soutiendra, vous êtes jeune et vous voilà à la tête d'une immense fortune, je l'espère. Le testament n'a pas été encore ouvert. Je vous connais assez pour savoir que cela ne vous tournera pas la tête, mais cela vous impose des devoirs, et il faut être homme⁴.

¹ Он умирает, а вы меня оставляете одну.

² Его нет более...

³ Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать: ничто так не облегчает, как слезы.

⁴ Да, мой друг, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но Бог вас поддержит, вы молоды, и вот вы теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не

Пьер молчал.

— Peut-être plus tard je vous dirai, mon cher, que si je n'avais pas été là, Dieu sait ce qui serait arrivé. Vous savez, mon oncle avant-hier encore me promettait de ne pas oublier Boris. Mais il n'a pas eu le temps. J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père¹.

Пьер ничего не понимал и молча, застенчиво краснея, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухова. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен; последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез и что она не знает — кто лучше вел себя в эти страшные минуты: отец ли, который так все и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца. «C'est pénible, mais cela fait du bien: ça élève l'âme de voir des hommes comme le vieux comte et son digne fils»², — говорила она. О поступках княжны и князя Василия она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шепотом.

XXII

<ИМЕНИЕ ЛЫСЫЕ ГОРЫ. СТАРЫЙ КНЯЗЬ БОЛКОНСКИЙ И КНЯЖНА МАРЬЯ>

В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не нарушило стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse³, — с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжной Марьей, и при ней компаньонкой, m-lle Bourienne⁴. И в новое царствование,

вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову; но это налагает на вас обязанности; и надо быть мужчиной.

¹ После я, может быть, расскажу вам, что если б я не была там, то Бог знает, что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца.

² Это тяжело, но это поучительно: душа возвышается, когда видишь таких людей, как старый граф и его достойный сын.

³ прусский король.

⁴ мамзель Бурьен.

хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в непрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз.

В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренне молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно.

Сидевший в официантской пудренный старик слуга тихим движением встал и шепотом доложил: «Пожалуйте».

Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.

Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы,

высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок, с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой, сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, позвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее:

— Здорова?.. ну, так садись!

Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло.

— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел.

— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем.

Княжна пригнулась к столу над тетрадью.

— Постой, письмо тебе, — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.

Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.

— От Элоизы? — спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие и желтоватые зубы.

— Да, от Жюли, — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.

— Еще два письма пропущу, а третье прочту, — строго сказал князь, — боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.

— Прочтите хоть это, mon père¹, — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.

— Третье, я сказал, третье, — коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.

— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала.

¹ батюшка.

— Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол абс...

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала его дыхание и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью.

Княжна ошиблась ответом.

Он придвинулся и продолжал толкование.

— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить, — математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится. — Он потрепал ее рукой по щеке. — Дурь из головы выскочит.

Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую, неразрезанную книгу.

— Вот еще какой-то Ключ тайнства тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь... Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.

Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и нетерпеливо распечатала письмо. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот был та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых.

Жюли писала:

«Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l'absence! J'ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que malgré la distance qui nous sépare, nos coeurs sont unis par des liens indissolubles; le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m'entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du cur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été dans votre grand cabinet sur le canapé bleu,

le canapé à confidences? Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme et si pénétrant, regard que j'aimais tant et que je crois voir devant moi, quand je vous écris?»¹

Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. «Она мне льстит», — подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. <...>

Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между двенадцатью и двумя часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.

XXIII

<ПРИЕЗД КНЯЗЯ АНДРЕЯ С ЖЕНОЙ К ОТЦУ>

Седой камердинер сидел, дремля и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.

В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед.

¹ Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастья в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами, мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствия и рассеяния, которые меня окружают, я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в вашем большом кабинете, на голубом диване, на диване «признаний»? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и пронизательном, который я так любила и который я вижу пред собой в ту минуту, как пишу вам?

Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене.

— Через двадцать минут он встанет. Пройдем к княжне Марье, — сказал он.

Маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила.

— Mais c'est un palais, — сказала она мужу, оглядываясь кругом, с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала. — Allons, vite, vite!..¹ — Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.

— C'est Marie qui s'exerce? Allons doucement, il faut la surprendre².

Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.

— Ты постарел, Тихон, — сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку.

Перед комнатою, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. M-lle Bourienne казалась обезумевшею от восторга.

— Ah! quel bonheur pour la princesse, — заговорила она. — Enfin! Il faut que je la prévienne³.

— Non, non, de grâce... Vous êtes mademoiselle Bourienne, je vous connais déjà par l'amitié que vous porte ma belle-soeur, — говорила княгиня, целуясь с нею. — Elle ne nous attend pas!⁴

Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.

Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во

¹ Да это дворец! — Ну, скорее, скорей!..

² Это Мари упражняется? Пойдем потихоньку, чтобы она не видала нас.

³ Ах, какая радость для княжны! Наконец-то! Надо ее предупредить.

⁴ Нет, нет, пожалуйста... Вы мамзель Бурьен; я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя золовка. Она не ожидает нас!

время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. M-lle Bourienne тоже заплакала. Князю Андрею было, очевидно, неловко; но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали; казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.

— Ah! chère!.. Ah Marie!.. — вдруг заговорили обе женщины и засмеялись.
— J'ai rêvé cette nuit... — Vous ne nous attendiez donc pas?.. Ah! Marie, vous avez maigri...
— Et vous avez repris...¹

— J'ai tout de suite reconnu madame la princesse², — вставила m-lle Бурьен.

— Et moi qui ne me doutais pas!.. — восклицала княжна Марья. — Ah! André, je ne vous voyais pas³.

Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же pleurnicheuse⁴, как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея.

Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестящая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозившей ей опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить Бог знает в чем, и что Андрей совсем переменялся, и что Китти Одынцева вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи pour tout de bon⁵, но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и любовь и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, не зависимый

¹ Ах, милая!.. Ах, Мари!.. — А я видела во сне. — Так вы нас не ожидали?.. Ах, Мари, вы так похудели. — А вы так пополнили...

² Я тотчас узнала княгиню.

³ А я и не подозревала!.. Ах, Андрей, я и не видела тебя.

⁴ плакса.

⁵ настоящий.

от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату.

— И ты решительно едешь на войну, André? — сказала она, вздохнув.

Lise вздохнула тоже.

— Даже завтра, — отвечал брат.

— Il m'abandonne ici, et Dieu sait pourquoi, quand il aurait pu avoir de l'avancement...¹

Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот?

— Наверное? — сказала она.

Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.

— Да, наверное, — сказала она. — Ах! Это очень страшно...

Губки Лизы опустились. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.

— Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей, морщась. — Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, все то же?

— То же, то же самое; не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна.

— И те же часы и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

— Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни.

Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына: он велел впустить его в свою половину во время одеванья перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей (не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером) входил к отцу, старик сидел в уборной на широком, сафьяном обитом кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.

— А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и потрянул напудренною головой, сколько позволяла эта заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. — Примись хотя ты за него хорошенько, а то он этак скоро и нас своими подданными запишет. Здорово! — И он

¹ Он покидает меня здесь, и Бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение...

выставил свою щеку.

Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно из-под своих густых нависших бровей косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца — подтрунивание над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.

— Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой, — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. — Как здоровье ваше?

— Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь: с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

— Слава Богу, — сказал сын, улыбаясь.

— Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай, — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку, — как вас немцы с Бонапартом сражаются по вашей новой науке, стратегией называемой, научили.

Князь Андрей улыбнулся.

— Дайте опомниться, батюшка, — сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. — Ведь я еще и не разместился.

— Врешь, врешь, — закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. — Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция что? Как Померанию перейдут?

Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа, по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как двести двадцать тысяч австрийцев, в соединении со ста тысячами русских, должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадутся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная

армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно перервал его. Один раз он остановил его и закричал:

— Белый! белый!

Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросил:

— И скоро она родит? — и, с упреком покачав головой, сказал: — Нехорошо! Продолжай, продолжай.

В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Malbrough s'en vaten guerre. Dieu sait quand reviendra»¹.

Сын только улыбнулся.

— Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю, — сказал сын, — я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.

— Ну, новенького ты мне ничего не сказал. — И старик задумчиво проговорил про себя скороговоркой: «Dieu sait quand reviendra». — Иди в столовую.

XXIV

В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, m-lle Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михаиле Ивановичу.

В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева

¹ «Мальбрук в поход поехал, Бог весть когда вернется».

князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет.

— Как я узнаю его всего тут! — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.

— У каждого своя ахиллесова пятка, — продолжал князь Андрей. — С его огромным умом *donner dans se ridicule!*¹

Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как слышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился; из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку.

— Я рад, я рад, — проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. — Садитесь, садитесь! Михаил Иванович, садитесь.

Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул.

— Го, го! — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. — Поторопилась, нехорошо!

Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся — одним ртом, а не глазами.

— Ходить надо, ходить, как можно больше, как можно больше, — сказал он.

Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых: княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и

¹ поддаваться этой мелочности!

городские сплетни.

— La comtesse Apraksine, la pauvre, a perdu son mari, et elle a pleuré les larmes de ses yeux¹, — говорила она, все более и более оживляясь.

По мере того как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михаилу Ивановичу.

— Ну что, Михаила Иванович, Буонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами все его пустым человеком считали.

Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Буонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.

— Он у меня тактик великий! — сказал князь сыну, указывая на архитектора.

И разговор зашел опять о войне, о Буонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Буонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.

— Все кажется хорошим, что было прежде, — сказал он, — а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?

— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь. — Суворов! — И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. — Суворов!.. Подумавши, князь Андрей. Два: Фридрих и Суворов... Моро! Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были; а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему черт не рад. Вот пойдете, эти хофс-кригс-вурстраты узнаете! Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михаиле Кутузову сладить?! Нет, дружок, — продолжал он, — вам с своими

¹ Бедная графиня Апраксина потеряла мужа. Глаза выплакала, бедняжка.

генералами против Бонапарте не обойтись; надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый-Йорк, в Америку, за французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. — Чудеса!! Что, Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарте у них стал полководец великий! Гм!..

— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей, — только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте все-таки великий полководец!

— Михайла Иванович! — закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. — Я вам говорил, что Бонапарте великий тактик? Вон и он говорит.

— Как же, ваше сиятельство, — отвечал архитектор.

Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга. Он на них свою славу сделал.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что, какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.

— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где! Я ночи не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?

— Это длинно было бы, — отвечал сын.

— Ступай же ты к Буонапарте своему. *M-lle Bourienne, voila encore un admirateur de votre goujat d'empereur!*¹ — закричал он отличным французским языком.

— *Vous savez que je ne suis pas bonapartiste, mon prince*².

¹ Мамзель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора!

² Вы знаете, князь, что я не бонапартистка.

— «Dieu sait quand reviendra...»¹ — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.

Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.

— Comme c'est un homme d'esprit votre père, — сказала она, — c'est à cause de cela peut-être qu'il me fait peur².

— Ах, он так добр! — сказала княжна.

XXV

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка — подарок отца, привезенный из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея: все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.

В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, — может быть, и то и другое, только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, услышав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстанемся. Ты не сердись, что я пришла? Ты очень переменялся, Андрюша, — прибавила она как бы в объяснение такого вопроса.

¹ «Бог весть когда вернется...»

² Какой умный человек ваш батюшка. Может быть, от этого-то я и боюсь его.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Lise? — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. — Ах, André! Quel trésor de femme vous avez¹, — сказала она, усаживаясь на диван против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, André! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете. И потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tout comprendre, c'est tout pardonner². Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.

— Я другое дело. Что обо мне говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, André, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна en ressources³, для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Mademoiselle Bourienne одна...

— Она мне очень не нравится, ваша Bourienne, — сказал князь Андрей.

— О нет! Она очень милая и добрая, а главное — жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше! Я люблю быть одна... Mon père⁴ ее очень любит. Она и Михаил Иваныч — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба благодетельствованы им; как говорит Стерн: «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Mon père взял ее сиротой sur le pavé⁵, и она очень добрая.

¹ Ах, Андрей! Какое сокровище твоя жена.

² Кто все поймет, тот все и простит.

³ не весела.

⁴ Батюшка.

⁵ на улице.

И mon père любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.

— Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

— Мне?.. Мне?! Мне тяжело?! — сказала она.

Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтоб озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.

— Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération¹, может возбудить такой человек, как mon père? И я так довольна и счастлива с ним! Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

— Одно, что тяжело для меня, — я тебе по правде скажу, André, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастье. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

— Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрчиваете свой порох, — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.

— Ah, mon ami². Я только молюсь Богу и надеюсь, что он услышит меня. André, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба.

— Что, мой друг?

— Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебе в этом не будет. Только ты меня утетишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы и будто прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это что-то.

Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.

¹ обожания.

² Ах, мой друг.

— Ежели бы это и стоило мне большого труда... — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

— Ты что хочешь думай! Я знаю, ты такой же, как и *mon rigé*. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах... — Она все еще не доставала того, что держала, из ридикюля. — Так ты обещаешь мне?

— Конечно, в чем дело?

— *Andrý*, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать... Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет... Чтобы тебе сделать удовольствие... — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, право, очень рад, мой друг, — прибавил он.

— Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к Себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе, на серебряной цепочке мелкой работы.

Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

— Пожалуйста, *André*, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) и насмешливо.

— *Merci, mon ami*¹.

Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали.

— Так я тебе говорила, *André*, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго *Lise*, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж говорили. И мне это грустно.

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал:

¹ Благодарю тебя, мой друг.

маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

— Пойдем к ней, надо проститься! Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру. — Поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась:

— André, si vous avez la foi, vous vous seriez adressé à Dieu, pour qu'il vous donne l'amour que vous ne sentez pas, et votre prière aurait été exaucée¹.

— Да — разве это! — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбающуюся m-lle Bourienne, уже в третий раз в этот день с восторженною и наивною улыбкой попадавшую ему в уединенных переходах.

— Ah! je vous croyais chez vous², — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза.

Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав. Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, слышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

— Non, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents, comme si elle voulait défier les années...³ Ха, ха, ха, Marie!

¹ Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтоб он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана.

² Ах, я думала, вы у себя.

³ Нет, представьте себе, старая графиня Зубова, с фальшивыми локонами, с фальшивыми

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстененькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, m-lle Bourienne, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь, в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

— Едешь? — И он опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда, — он показал щеку, — спасибо, спасибо!

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. — Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, — прибавил он.

— О жене... Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю...

— Что врешь? Говори, что нужно.

— Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером...
Чтоб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, — говорил князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится.

— Гм... гм... — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. — Сделаю.

Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.
зубами, как будто издеваясь над годами...

— Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю, — сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок, — сказал князь, — они все такие, не разженишься. Ты не бойся; никому не скажу; а ты сам знаешь.

Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма с своею привычною быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.

— Что делать? Красива! Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал: ему и приятно и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

— Слушай, — сказал он, — о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Иларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.

Он говорил такую скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.

— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо: это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно

— Все исполню, батюшка, — сказал он.

— Ну, теперь прощай! — Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. — Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно

будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно! — взвизгнул он.

— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал сын.

Старик замолчал.

— Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей, — ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас... пожалуйста.

— Жене не отдавать? — сказал старик и засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простились... ступай! — вдруг сказал он. — Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

— Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил.

— Ну, — сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодной насмешкой, как будто он говорил: «Теперь проделывайте вы ваши штуки».

— Андрей, дѣя?¹ — сказала маленькая княгиня, бледнее и со страхом глядя на мужа.

Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

— Adieu, Marie², — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

Княгиня лежала в кресле, m-lle Бурьен терла ей виски. Княжна Маша, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом халате.

— Уехал? Ну и хорошо! — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и

¹ Андрей, что, уже?

² Прощай, Маша.

захлопнул дверь. <...>

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
XIV
<СБОРЫ РОСТОВЫХ НА БАЛ.
ПЕРВЫЙ БАЛ НАТАШИ РОСТОВОЙ>

31-го декабря, накануне нового 1810 года, le réveillon¹, был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили о сукну подъезда.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки.

— Государь?.. — Нет, министр... принц... посланник... Разве не видишь перья?.. — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний.

Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно. Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.

В десять часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.

¹ сочельник.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все: она, мама, Соня — были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны а la gresque.

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.

— Не так, не так, Соня! — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. — Не так бант, поди сюда. — Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.

— Позвольте, барышня, нельзя так, — говорила горничная, державшая волоса Наташи.

— Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.

— Скоро ли вы? — послышался голос графини. — Уж десять сейчас.

— Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?

— Только току приколоть.

— Не делайте без меня, — крикнула Наташа, — вы не сумеете!

— Да уж десять.

На бале решено было быть в половине одиннадцатого, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.

Окончив прическу, Наташа, в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материной кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять подбежала к девушкам, подшивавшим ее юбку.

Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье.

— Мавруша, скорее, голубушка!

— Дайте наперсток оттуда, барышня.

— Скоро ли, наконец? — сказал граф, входя из-за двери. — Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

— Готово, барышня, — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.

Наташа стала надевать платье.

— Сейчас, сейчас, не ходи, папа! — крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.

— Папа, ты как хорош, прелесть! — сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.

— Позвольте, барышня, позвольте, — говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.

— Воля твоя, — с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, — воля твоя, опять длинно!

Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.

— Ей-богу, сударыня, ничего не длинно, — сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.

— Ну, длинно, так заметаем, в одну минуту заметаем, — сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.

В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.

— Уу! моя красавица! — закричал граф. — Лучше вас всех!.. — Он хотел обнять ее, но она, краснея, отстранилась, чтобы не измяться.

— Мама, больше набок току, — проговорила Наташа. — Я переколю, — и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.

— Боже мой! Что ж это такое? Я, ей-богу, не виновата...

— Ничего, заметаю, не видно будет, — говорила Дуняша.

— Красавица, краля-то моя! — сказала из-за двери вошедшая няня. — А Сонюшка-то, ну красавицы!..

В четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.

Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у

нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, так же старательно промыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.

Ростовы похвалили ее вкус и туалет и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.

XV

Наташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, — музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «*Charme de vous voir*»¹, — так же встретили и Ростовых с Перонской.

¹ Очень, очень рады вас видеть.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь?

— Charmante!¹ — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.

В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.

«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она.

Перонская называла графине самых значительных из лиц, бывших на бале.

— Вот это голландский посланник, видите, седой, — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться.

— А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, — говорила она, указывая на входившую Элен.

— Как хороша! Не уступит Марье Антоновне; смотрите, как за ней увиваются и старые и молодые. И хороша и умна. Говорят, принц... без ума от нее. А вот эти две хоть и не хороши, да еще больше окружены.

Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью.

— Это миллионерка-невеста, — сказала Перонская. — А вот и женихи.

— Это брат Безуховой — Анатолий Курагин, — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы, через дам глядя куда-то. — Как хорош! не правда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то cousin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. — Как же, это сам французский посланник, — отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья-то Антоновна! И как просто одета. Прелесть!

— А этот-то, толстый, в очках, фармазон всемирный, — сказала Перонская, указывая на Безухова. — С женою-то его рядом поставьте: то-

¹ Прелесть!

то шут гороховый!

Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого-то.

Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.

Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.

— Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном.

— А, вы его знаете? — сказала Перонская. — Терпеть не могу. Il fait à présent la pluie et le beau temps¹. И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, коли б он со мной так поступил, как с этими дамами.

XVI

Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского.

¹ По нем теперь все с ума сходят.

Все расступились и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых, не умолкая, называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла опустив свои тоненькие руки, и с мерной поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская, — у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: „А! это не она, так и нечего смотреть!“ Нет, это не может быть! — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною».

Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустно — воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец Анатолий, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним.

Наташе показалось оскорбительным это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцевал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздалась отчетливые, осторожные и увлекательные мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута — никто еще не начинал. Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на

него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развеваясь, бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.

Князь Андрей в своем полковничьем белом мундире (по кавалерии), в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании Государственного совета. Князь Андрей, как человек, близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на собиравшихся танцевать кавалеров, не решавшихся вступить в круг.

Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными.

Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.

— Вы всегда танцуете. Тут есть моя протйгйе, Ростова молодая, пригласите ее, — сказал он.

— Где? — спросил Болконский. — Виноват, — сказал он, обращаясь к барону, — этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцевать. — Он вышел вперед, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

— Позвольте вас познакомить с моей дочерью, — сказала графиня, краснея.

— Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.

«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.

Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.

XVII

После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданье в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как

будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.

Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастью. В то время как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась и, видимо, подумала отказать, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.

«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это понимаем», — и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.

«Ежели она подойдет прежде к своей кухне, а потом к другой даме, то она будет моей женой», — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кухне.

«Какой вздор иногда приходит в голову! — подумал князь Андрей. — Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж... Это здесь редкость», — думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.

В конце котильона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: «Как можно было спрашивать об этом?»

— Так весело, как никогда в жизни! — сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтоб обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастья и горя.

Пьер на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был угрюм

и рассеян. Поперек лба его была глубокая складка, и он, стоя у окна, смотрел через очки, никого не видя.

Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его.

Мрачное, несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него. Ей хотелось помочь ему, передать ему излишек своего счастья.

— Как весело, граф, — сказала она, — не правда ли?

Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно не понимая того, что ему говорили.

— Да, я очень рад, — сказал он.

«Как могут они быть недовольны чем-то, — думала Наташа. — Особенно такой хороший, как этот Безухов?» На глаза Наташи, все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.

XVIII

На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал, но ненадолго остановился на нем мыслью: «Да, очень блестящий был бал. И еще... да, Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, непетербургское, отличающее ее». <...>

XIX

На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание.

Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и все семейство Ростовых приняли князя Андрея как старого друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, — думал Болконский, — разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная

жизни, прелестная девушка!»

Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отраденской аллее и на окне в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение.

После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавибордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать? О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознавшая им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения.

Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает.

Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажегши свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. «Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне?» — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собой, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему; потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию,

Италию. «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости, — говорил он сам себе. — Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», — думал он.

XXIII

<КНЯЗЬ АНДРЕЙ ПРОСИТ РУКИ НАТАШИ РОСТОВОЙ>

Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу.

Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто-нибудь хотел изменить жизнь, вносить в нее что-нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», — говорил себе старик. С сыном, однако, он употребил ту дипломатию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил все дело:

Во-первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во-вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В-третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В-четвертых, наконец, сказал отец, насмешливо глядя на сына, «я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца для князь Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись. И это последнее мое слово, знай, последнее...» — кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год.

Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых князь Андрей вернулся в Петербург.

На другой день после своего объяснения с матерью Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. На другой, на третий день было то же, Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла объяснить его отсутствия.

Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать, и, как

ть, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя, это тщеславное горе усиливало ее несчастье.

Однажды она пришла к графине, хотела что-то сказать ей и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан. Графиня стала успокаивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее:

— Перестаньте, мама, я и не думаю и не хочу думать! Так, поездил, и перестал, и перестал...

Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала:

— И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем успокоилась...

На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки, переливаясь, наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много, и так хорошо», — сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. «Вот она я! — как будто говорило выражение ее лица при виде себя. — Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».

Лакей хотел войти, чтобы убрать что-то в зале, но она непустила его, опять, затворив за ним дверь, продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. «Что за прелесть эта Наташа! — сказала она опять про себя словами какого-то третьего, собирательного мужского лица. — Хороша, голос, молада, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и

тотчас же почувствовала это.

В передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил: дома ли? — и послышались чьи-то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидела себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.

Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.

— Мама, Болконский приехал! — сказала она. — Мама, это ужасно, это несносно! Я не хочу... мучиться! Что же мне делать?..

Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидел Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана...

— Давно уже мы не имели удовольствия... — начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и, очевидно, торопяся сказать то, что ему было нужно.

— Я не был у вас все это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, — сказал он, взглянув на Наташу. — Мне нужно переговорить с вами, графиня, — прибавил он после минутного молчания.

Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.

— Я к вашим услугам, — проговорила она.

Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что-то сжимало! ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.

«Сейчас? Сию минуту!.. Нет, это не может быть!» — думала она.

Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.

— Поди, Наташа, я позову тебя, — сказала графиня шепотом.

Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать и вышла.

— Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, — сказал князь Андрей.

Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.

— Ваше предложение... — степенно начала графиня. Он молчал, глядя ей в глаза. — Ваше предложение... (она сконфузилась) нам приятно, и... я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой... я надеюсь... но от нее самой будет зависеть...

— Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие... дадите ли вы мне

его? — сказал князь Андрей.

— Да, — сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек.

— Я уверена, что мой муж будет согласен, — сказала графиня, — но ваш батюшка...

— Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременно условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это-то я хотел сообщить вам, — сказал князь Андрей.

— Правда, что Наташа еще молода, но — так долго!

— Это не могло быть иначе, — со вздохом сказал князь Андрей.

— Я пошлю вам ее, — сказала графиня и вышла из комнаты.

— Господи, помилуй нас, — твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образ и, быстро крестясь, шептала что-то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.

— Что? мама?.. Что?

— Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, — сказала графиня холодно, как показалось Наташе... — Поди... поди, — проговорила мать с грустью и укоризной вслед убежавшей дочери и тяжело вздохнула.

Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня?» — спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, все: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза.

— Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?

Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь».

Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал.

— Любите ли вы меня?

— Да, да, — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала.

— О чем? Что с вами?

— Ах, я так счастлива, — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя,

можно ли это, и поцеловала его.

Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желаний, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее.

— Сказала ли вам мама, что это не может быть раньше года? — сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза.

«Неужели это я, та девочка-ребенок (все так говорили обо мне), — думала Наташа, — неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить жизнью, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?»

— Нет, — отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал.

— Простите меня, — сказал князь Андрей, — но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя.

Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов, и не понимала.

— Как ни тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье, — продолжал князь Андрей, — в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастье; но вы свободны: помолвка наша останется тайной, и ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы... — сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.

— Зачем вы это говорите? — перебила его Наташа. — Вы знаете, что с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я полюбила вас, — сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду.

— В год вы узнаете себя...

— Це-лый год! — вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, что свадьба отсрочена на год. — Да отчего ж год? Отчего ж год?.. — Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не слушала его.

— И нельзя иначе? — спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице выразил невозможность изменить это решение.

— Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! — вдруг заговорила Наташа, и опять зарыдала. — Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно. — Она взглянула в лицо своего жениха и увидела в нем выражение сострадания

и недоумения.

— Нет, нет, я все сделаю, — сказала она, вдруг остановив слезы, — я так счастлива!

Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту.

С этого дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым.

XXIV

Обручения не было, и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей; на этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собою разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом; но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день у Ростовых, но не как жених обращался с Наташей: он говорил ей вы и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие, чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. И он и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще ничем; теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами: тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем; он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостью уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится, и что никто не должен бояться его. После нескольких дней в семействе к нему привыкли и, не стесняясь, вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом, и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как все это случилось и как очевидны были предзнаменования этого: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805-м году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними.

В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая

всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто, сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, все так же молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними.

— Отчего? — испуганно сказала Наташа...

— Я не могу отнять его у деда, и потом...

— Как бы я его любила! — сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль, — но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня.

Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя; «Что он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом? Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила в свойственное ей безумно-веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее.

Накануне своего отъезда из Петербурга князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.

— Вы ведь давно знаете Безухова? — спросил он. — Вы любите его?

— Да, он славный, но смешной очень.

И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него.

— Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, — сказал князь Андрей. — Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали, — сказал

он вдруг серьезно, — я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, — что бы ни случилось с вами, когда меня не будет...

— Что ж случится?..

— Какое бы горе ни было, — продолжал князь Андрей, — я вас прошу, mademoiselle Sophie, что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце.

Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставанье с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку.

— Не уезжайте! — только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала; но несколько дней она, не плача, сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: «Ах, зачем он уехал!»

Но через две недели после его отъезда она, так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, но только с измененной нравственной физиономией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

IX

<НАТАША РОСТОВА В ОПЕРЕ>

<...> После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашенные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали

притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть, это так надобно!» — думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый, толпою согретый воздух. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она и что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно, без связи, мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и защекотать ее.

В одну из минут, когда на сцене все затихло, ожидая начала арии, скрипнула входная дверь, и по ковру партера на той стороне, на которой была ложа Ростовых, зазвучали шаги запоздавшего мужчины. «Вот он, Курагин!» — прошептал Шиншин. Графиня Безухова обернулась, улыбаясь, к входящему. Наташа посмотрела по направлению глаз графини Безуховой и увидела необыкновенно красивого адъютанта, с самоуверенным и вместе учтивым видом подходящего к их ложе. Это был Анатолий Курагин, которого она давно видела и заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одной эполетой и аксельбантом. Он шел сдержанной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на его прекрасном лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Несмотря на то, что действие шло, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шел по наклонному ковру коридора. Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитой перчатке на край ее ложи, потряхнул ей головой и, наклонясь, спросил что-то, указывая на Наташу.

— *Mais charmante!*¹ — сказал он, очевидно про Наташу, как не столько слышала она, сколько поняла по движению его губ. Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова, дружески и небрежно толкнув локтем того Долохова, с которым так заискивающе обращались другие. Он, весело подмигнув, улыбнулся ему и уперся ногой в рампу.

— Как похожи брат с сестрой! — сказал граф. — И как хороши оба.

Шиншин вполголоса начал рассказывать графу какую-то историю

¹ Очень, очень мила!

интриги Курагина в Москве, к которой Наташа прислушалась именно потому, что он сказал про нее *charmante*.

Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались и стали ходить и выходить.

Борис пришел в ложу Ростовых, очень просто принял поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой, передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были на ее свадьбе, и вышел. Наташа с веселой и кокетливой улыбкой разговаривала с ним и поздравляла с женитьбой того самого Бориса, в которого она была влюблена прежде. В том состоянии опьянения, в котором она находилась, все казалось просто и естественно.

Голая Элен сидела подле нее и одинаково всем улыбалась; и точно так же улыбнулась Наташа Борису.

Ложа Элен наполнилась и окружилась со стороны партера самыми знатными и умными мужчинами, которые, казалось, наперерыв желали показать всем, что они знакомы с ней.

Курагин весь этот антракт стоял с Долоховым впереди у рампы, глядя на ложу Ростовых. Наташа знала, что он говорил про нее, и это доставляло ей удовольствие. Она даже повернулась так, чтоб ему виден был ее профиль, по ее понятиям, в самом выгодном положении. Перед началом второго акта в партере показалась фигура Пьера, которого еще с приезда не видали Ростовы. Лицо его было грустно, и он еще потолстел, с тех пор как его последний раз видела Наташа. Он, никого не замечая, прошел в первые ряды. Анатолий подошел к нему и стал что-то говорить ему, глядя и указывая на ложу Ростовых. Пьер, увидав Наташу, оживился и поспешно, по рядам, пошел к их ложе. Подойдя к ним, он облокотился и, улыбаясь, долго говорил с Наташей. Во время своего разговора с Пьером Наташа услышала в ложе графини Безуховой мужской голос и почему-то узнала, что это был Курагин. Она оглянулась и встретилась с ним глазами. Он, почти улыбаясь, смотрел ей прямо в глаза таким восхищенным, ласковым взглядом, что казалось, странно быть от него так близко, так смотреть на него, быть так уверенной, что нравишься ему, и не быть с ним знакомой.

<...>

...Наташа всякий раз, как взглядывала в партер, видела Анатолия Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла и смотревшего на нее. Ей приятно было видеть, что он так пленен ею, и не приходило в голову, чтобы в этом было что-нибудь дурное.

Когда второй акт кончился, графиня Безухова встала, повернулась к ложе Ростовых (грудь ее совершенно была обнажена), пальчиком в перчатке

поманила к себе старого графа и, не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.

— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми, — сказала она. — Весь город про них кричит, а я их не знаю.

Наташа встала и присела великолепной графине. Наташе так приятна была похвала этой блестящей красавицы, что она покраснела от удовольствия.

— Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой, — говорила Элен. — И как вам не совестно зарыть такие перлы в деревне!

Графиня Безухова по справедливости имела репутацию обворожительной женщины. Она могла говорить то, чего не думала, и в особенности льстить, совершенно просто и натурально.

— Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я хоть теперь здесь ненадолго. И вы тоже. Я постараюсь повеселить ваших. Я еще в Петербурге много слышала о вас и хотела вас узнать, — сказала она Наташе с своей однообразно красивой улыбкой. — Я слышала о вас и от моего пажа — Друбецкого, — вы слышали, он женится, — и от друга моего мужа — Болконского, князя Андрея Болконского, — сказала она с особенным ударением, намекая этим на то, что она знала отношения его к Наташе. Она попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из барышень посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла к ней.<...>

Х

<ЗНАКОМСТВО НАТАШИ С АНАТОЛЕМ КУРАГИНЫМ>

В антракте в ложе Элен пахло холодом, отворилась дверь, и, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, вошел Анатолий.

— Позвольте мне вам представить брата, — беспокойно перебегая глазами с Наташи на Анатолия, сказала Элен. Наташа через голое плечо оборотила к красавцу свою хорошенькую головку и улыбнулась. Анатолий, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие, еще с нарышкинского бала, на котором имел удовольствие, которое он не забыл, видеть ее. Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто, и Наташу странно и приятно поразило то, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно-веселая

и добродушная улыбка.

Анатоль Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова, играя, упала.

— А знаете, графиня, — сказал он, вдруг обращаясь к ней, как к старой, давнишней знакомой, — у нас устраивается карусель в костюмах; вам бы надо участвовать в нем: будет очень весело. Все собираются у Архаровых. Пожалуйста, приезжайте, право, а? — проговорил он.

Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташа несомненно знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно, жарко и тяжело становилось от его присутствия. Когда она смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Наташа оглядывалась на Элен и на отца, как будто спрашивая их, что такое это значило; но Элен была занята разговором с каким-то генералом и не ответила на ее взгляд, а взгляд отца ничего не сказал ей, как только то, что он всегда говорил: «Весело, ну я и рад».

В одну из минут неловкого молчания, во время которых Анатолий своими выпуклыми глазами спокойно и упорно смотрел на нее, Наташа, чтобы прервать это молчание, спросила его, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатолий улыбнулся, как бы ободряя ее.

— Сначала мне мало нравилась, потому что что делает город приятным? *Ce sont les jolies femmes*¹, не правда ли? Ну, а теперь очень нравится, — сказал он, значительно глядя на нее. — Поедете на карусель, графиня? Пожалуйста, поезжайте, — сказал он и, протянув руку к ее букету и понижая голос, сказал: — *Vous serez la plus jolie. Venez, chère comtesse, et comme gage donnez moi cette fleur*².

¹ Это хорошенькие женщины.

² Вы будете самая хорошенькая. Поезжайте, милая графиня, и в залог дайте мне этот цветок.

Наташа не поняла того, что он сказал, так же как он сам, но она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел. Она не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слышала того, что он сказал. Но только что она отвернулась, она подумала, что он тут сзади, так близко от нее.

«Что он теперь? Он сконфужен? Рассержен? Надо поправить это?» — спрашивала она сама себя. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Она прямо в глаза взглянула ему, и его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась тоже, так же как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

Опять поднялась занавесь. Анатолий вышел из ложи, спокойный и веселый. Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед нею, уже казалось ей вполне естественным; но зато все прежние мысли ее о женихе, о княжне Марье, о деревенской жизни ни разу не пришли ей в голову, как будто все то было давно, давно прошедшее.

В четвертом акте был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда. Наташа только это и видела из четвертого акта: что-то волновало и мучило ее, и причиной этого волнения был Курагин, за которым она невольно следила глазами. Когда они выходили из театра, Анатолий подошел к ним, вызвал их карету и подсаживал их. Подсаживая Наташу, он пожал ей руку выше кисти. Наташа, взволнованная, красная и счастливая, оглянулась на него. Он, блестя своими глазами и нежно улыбаясь, смотрел на нее.

Только приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было, и, вдруг вспомнив о князе Андрее, она ужаснулась и при всех, за чаем, за который все сели после театра, громко ахнула и, раскрасневшись, выбежала из комнаты. «Боже мой! Я погибла! — сказала она себе. — Как я могла допустить до этого?» — думала она. Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с ней было, ни того, что она чувствовала. Все казалось ей темно, неясно и страшно. Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Dupont в курточке с блестками, и девицы, и старики, и голая, с спокойной и гордой улыбкой Элен в восторге кричали браво, — там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто; но теперь одной, самой с собой, это было непонятно. «Что это такое? Что такое этот страх,

который я испытывала к нему? Что такое эти угрызения совести, которые я испытываю теперь?» — думала она.

Одной старой графине Наташа в состоянии была бы ночью в постели рассказать все, что она думала. Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом, или ничего бы не поняла, или ужаснулась бы ее признанию. Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило.

«Погибла ли я для любви князя Андрея, или нет?» — спрашивала она себя и с успокоительной усмешкой отвечала себе: «Что я за дура, что я спрашиваю это? Что ж со мной было? Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. Никто не узнает, и я его больше не увижу никогда, — говорила она себе. — Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такую. Но какую такую? Ах Боже, Боже мой! Зачем его нет тут!» Наташа успокоивалась на мгновение, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда и хотя ничего не было, — инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла. И она опять в своем воображении повторяла весь свой разговор с Курагиным и представляла себе лицо, жест и нежную улыбку этого красивого и смелого человека, в то время как он пожал ее руку.

XI

Анатоль Курагин жил в Москве, потому что отец отослал его из Петербурга, где он проживал более двадцати тысяч в год деньгами и столько же долгами, которых кредиторы требовали у отца.

Отец объявил сыну, что он в последний раз платит половину его долгов; но только с тем, чтоб он ехал в Москву в должность адъютанта главнокомандующего, которую он ему выхлопотал, и постарался бы там наконец сделать хорошую партию. Он указал ему на княжну Марью и Жюли Карагину.

Анатоль согласился и поехал в Москву, где остановился у Пьера. Пьер принял Анатоля сначала неохотно, но потом привык к нему, иногда ездил с ним на его кутежи и, под предлогом займа, давал ему деньги.

Анатоль, как справедливо говорил про него Шиншин, с тех пор как приехал в Москву, сводил с ума всех московских барынь в особенности тем, что он пренебрегал ими и, очевидно, предпочитал им цыганок и французских актрис, с главою которых с *mademoiselle Georges*, как говорили, он был в близких сношениях. Он не пропускал ни одного кутежа у Долохова и других весельчаков Москвы, напролет пил целые ночи, перепивая всех, и

бывал на всех вечерах и балах высшего света. Рассказывали про несколько интриг его с московскими дамами, и на балах он ухаживал за некоторыми. Но с девицами, в особенности с богатыми невестами, которые были большей частью дурны, он не сближался, тем более что Анатолий, чего никто не знал, кроме самых близких друзей его, был два года тому назад женат. Два года тому назад, во время стоянки его полка в Польше, один польский небогатый помещик заставил Анатолия жениться на своей дочери.

Анатолий весьма скоро бросил свою жену и за деньги, которые он условился высылать тестю, выговорил себе право слыть за холостого человека.

Анатолий был всегда доволен своим положением, собою и другими. Он был инстинктивно, всем существом своим убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем так, как он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отзываться на других, ни того, что может выйти из такого или такого его поступка. Он был убежден, что как утка сотворена так, что она всегда должна жить в воде, так и он сотворен Богом так, что должен жить в тридцать тысяч дохода и занимать всегда высшее положение в обществе. Он так твердо верил в это, что, глядя на него, и другие были убеждены в этом и не отказывали ему ни в высшем положении в свете, ни в деньгах, которые он, очевидно без отдачи, занимал у встречного и поперечного.

Он не был игрок, по крайней мере никогда не желал выигрыша, даже не жалел проигрыша. Он не был тщеславен. Ему было совершенно все равно, что бы о нем ни думали. Еще менее он мог быть повинен в честолюбии. Он несколько раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями. Он был не скуп и не отказывал никому, кто просил у него. Одно, что он любил, — это было веселье и женщины; и так как, по его понятиям, в этих вкусах не было ничего неблагородного, а обдумать то, что выходило для других людей из удовлетворения его вкусов, он не мог, то в душе своей он считал себя безукоризненным человеком, искренно презирал подлецов и дурных людей и с спокойной совестью высоко носил голову.

У кутил, у этих мужских магдалин, есть тайное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин-женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей все простится, потому что она много любила; и ему все простится, потому что он много веселился».

Долохов, в этом году появившийся опять в Москве после своего изгнания и персидских походов и ведший роскошную игорную и кутежную жизнь, сблизился с старым петербургским товарищем Курагиным и пользовался им для своих целей.

Анатоль искренно любил Долохова за его ум и удалство; Долохов, которому были нужны имя, знатность, связи Анатоля Курагина для приманки в свое игорное общество богатых молодых людей, не давая ему этого чувствовать, пользовался и забавлялся Курагиным. Кроме расчета, по которому ему был нужен Анатоль, самый процесс управления чужою волей был наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова.

Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживания — Анатоль не мог обдумать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого его поступка.

— Хороша, брат, да не про нас, — сказал ему Долохов.

— Я скажу сестре, чтоб она позвала ее обедать, — сказал Анатоль. — А?

— Ты подожди лучше, как замуж выйдет...

— Ты знаешь, — сказал Анатоль, — *j'adore les petites filles*¹: сейчас потеряется.

— Ты уж попался раз на *petite fille*, — сказал Долохов, знавший про женитьбу Анатоля. — Смотри.

— Ну, уж два раза нельзя! А? — сказал Анатоль, добродушно смеясь.

XII

Следующий после театра день Ростовы никуда не ездили, и никто не приезжал к ним. Марья Дмитриевна о чем-то скрывая от Наташи, переговаривалась с ее отцом. Наташа догадывалась, что они говорили о старом князе и что-то придумывали, и ее беспокоило и оскорбляло это. Она всякую минуту ждала князя Андрея и два раза в этот день посылала дворника на Вздвиженку узнавать, не приехал ли он. Он не приезжал. Ей было теперь тяжелее, чем первые дни своего приезда. <...> Ей все казалось, что или он никогда не приедет, или что, прежде чем он приедет, с ней случится что-нибудь. Она не могла, как прежде, спокойно и продолжительно, одна сама с собой, думать о нем. Как только она начинала думать о нем, к воспоминанию о нем присоединялось воспоминание о старом князе, о княжне Марье, и о последнем спектакле, и о Курагине. Ей опять представлялся вопрос, не виновата ли она, не нарушена ли уже ее верность князю Андрею, и опять она заставляла себя до малейших подробностей воспоминающею каждое слово, каждый жест, каждый оттенок игры выражения на лице этого

¹ я обожаю девочек.

человека, умевшего возбудить в ней непонятное для нее и страшное чувство. На взгляд домашних, Наташа казалась оживленнее обыкновенного, но она далеко была не так спокойна и счастлива, как была прежде. <...>

Когда напились кофе после обедни, в гостиной с снятыми чехлами, Марья Дмитриевна доложили, что карета готова, и она с строгим видом, одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, поднялась и объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Болконскому, чтоб объясниться с ним насчет Наташи.

После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовым приехала модистка от мадам Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, очень довольная развлечением, занялась примериваньем новых платьев. В то время как она, надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и загибая голову, гляделась в зеркало, как сидит спинка, она услышала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого, женского голоса, который заставил ее покраснеть. Это был голос Элен. Не успела Наташа снять примериваемый лиф, как дверь отворилась и в комнату вошла графиня Безухова, сияющая добродушной и ласковой улыбкой, в темно-лиловом, с высоким воротом, бархатном платье.

— Ah, ma délicieuse!¹ — сказала она красневшей Наташе. — Charmante!² Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф, — сказала она вошедшему за ней Илье Андреичу. — Как жить в Москве и никуда не ездить! Нет, я от вас не отстану! Нынче вечером у меня m-lle Georges декламирует и соберутся кое-кто; и ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше m-lle Georges, то я вас знать не хочу. Мужа нет, он уехал в Тверь, а то бы я его за вами прислала. Непременно приезжайте, непременно, в девятом часу. — Она кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платья и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем en gaz métallique³, которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же.

— Впрочем, вам все идет, моя прелестная, — говорила она.

С лица Наташи не сходила улыбка удовольствия. Она чувствовала себя счастливой и расцветающей под похвалами этой милой графини Безуховой,

¹ О, моя восхитительная!

² Прелесть!

³ из металлического газа.

казавшейся ей прежде такой неприступной и важной дамой и бывшей теперь такою доброй с ней. Наташе стало весело, и она чувствовала себя почти влюбленной в эту такую красивую и такую добродушную женщину. Элен с своей стороны искренно восхищалась Наташей и желала повеселить ее. Анатолий просил ее свести его с Наташей, и для этого она приехала к Ростовым. Мысль свести брата с Наташей забавляла ее.

Несмотря на то, что прежде у нее была досада на Наташу за то, что она в Петербурге отбила у нее Бориса, она теперь и не думала об этом и всей душой, по-своему, желала добра Наташе. Уезжая от Ростовых, она отозвала в сторону свою protégée.

— Вчера брат обедал у меня — мы помирали со смеха — ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chère¹.

Наташа багрово покраснела, услышав эти слова.

— Как краснеет, как краснеет, ma délicieuse!² — проговорила Элен. — Непременно приезжайте. Si vous aimez quelqu'un, ma délicieuse, ce n'est pas une raison pour se cloîtrer. Si même vous êtes promise, je suis sûre que votre promis aurait désiré que vous alliez dans le monde en son absence plutôt que de dépérir d'ennui³.

«Стало быть, она знает, что я невеста, стало быть, и они с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером, — думала Наташа, — говорили и смеялись про это. Стало быть, это ничего». И опять, под влиянием Элен, то, что прежде представлялось страшным, показалось простым и естественным. «И она такая grande dame⁴, такая милая и так, видно, всей душой любит меня, — думала Наташа. — И отчего не веселиться?» — думала Наташа, удивленными, широко раскрытыми глазами глядя на Элен.

К обеду вернулась Марья Дмитриевна, молчаливая, серьезная, очевидно, понесшая поражение у старого князя. Она была еще слишком взволнована от происшедшего столкновения, чтобы быть в силах спокойно рассказать дело. На вопрос графа она отвечала, что все хорошо и что она завтра расскажет. Узнав о посещении графини Безуховой и приглашении на вечер, Марья Дмитриевна сказала:

— С Безуховой водиться я не люблю и не посоветую; ну, да уж если обещала, поезжай, рассеешься, — прибавила она, обращаясь к Наташе.

¹ Он без ума, ну истинно без ума влюблен в вас.

² моя прелесть!

³ Если вы кого-нибудь любите, моя прелестная, это еще не причина, чтобы запереть себя. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених желал бы скорее, чтобы вы ездили в свет, чем пропадали со скуки.

⁴ важная барыня.

ХІІІ

<НА ВЕЧЕРЕ У ЭЛЕН. ВСТРЕЧА С АНАТОЛЕМ КУРАГИНЫМ.>

Граф Илья Андреич повез своих девиц к графине Безуховой. На вечере было довольно много народу. Но все общество было почти незнакомо Наташе. Граф Илья Андреич с неудовольствием заметил, что все это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения. M-lle Georges, окруженная молодежью, стояла в углу гостиной. Было несколько французов и между ними Метивье, бывший, со времени приезда Элен, домашним человеком у нее. Граф Илья Андреич решился не садиться за карты, не отходить от дочерей и уехать, как только кончится представление Georges.

Анатоль, очевидно, у двери ожидал входа Ростовых. Он тотчас же, поздоровавшись с графом, подошел к Наташе и пошел за ней. Как только Наташа его увидела, то же, как и в театре, чувство тщеславного удовольствия, что она нравится ему, и страха от отсутствия нравственных преград между ею и им охватило ее.

Элен радостно приняла Наташу и громко восхищалась ее красотой и туалетом. Вскоре после их приезда m-lle Georges вышла из комнаты, чтобы одеться. В гостиной стали расстановивать стулья и усаживаться. Анатоль подвинул Наташе стул и хотел сесть подле, но граф, не спускавший глаз с Наташи, сел подле нее. Анатоль сел сзади.

M-lle Georges, с оголенными, с ямочками, толстыми руками, в красной шали, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе. Послышался восторженный шепот.

M-lle Georges строго и мрачно оглядела публику и начала говорить по-французски какие-то стихи... Она местами возвышала голос, местами шептала, торжественно поднимая голову, местами останавливалась и хрипела, выкатывая глаза:

— Adorable, divin, délicieux!¹ — слышалось со всех сторон. Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не слышала, не видела и не понимала ничего из того, что делалось перед ней; она только чувствовала себя опять вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел Анатоль, и она, чувствуя его близость, испуганно ждала чего-то.

¹ Восхитительно, божественно, чудесно!

После первого монолога все общество встало и окружило m-lle Georges, выражая ей свой восторг.

— Как она хороша! — сказала Наташа отцу, который вместе с другими встал и сквозь толпу подвигался к актрисе.

— Я не нахожу, глядя на вас, — сказал Анатоль, следуя за Наташей. Он сказал это в такое время, когда она одна могла его слышать. — Вы прелестны... с той минуты, как я увидал вас, я не переставал...

— Пойдем, пойдем, Наташа, — сказал граф, возвращаясь за дочерью. — Как хороша!

Наташа, ничего не говоря, подошла к отцу и вопросительно-удивленными глазами смотрела на него.

После нескольких приемов декламации m-lle Georges уехала, и графиня Безухова попросила общество в залу.

Граф хотел уехать, но Элен умоляла не испортить ее импровизированного бала. Ростовы остались. Анатоль пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая ее стан и руку, сказал ей, что она ravissante¹ и что он любит ее. Во время экосеза, который она опять танцевала с Курагиным, когда они остались одни, Анатоль ничего не говорил ей и только смотрел на нее. Наташа была в сомнении, не во сне ли она видела то, что он сказал ей во время вальса. В конце первой фигуры он опять пожал ей руку. Наташа подняла на него испуганные глаза, но такое самоуверенно-нежное выражение было в его ласковом взгляде и улыбке, что она не могла, глядя на него, сказать того, что она имела сказать ему. Она опустила глаза.

— Не говорите мне таких вещей, я обручена и люблю другого, — проговорила она быстро... Она взглянула на него. Анатоль не смутился и не огорчился тем, что она сказала.

— Не говорите мне про это. Что мне за дело? — сказал он. — Я говорю, что безумно, безумно влюблен в вас. Разве я виноват, что вы восхитительны?.. Нам начинать.

Наташа, оживленная и тревожная, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее, чем обыкновенно. Она почти ничего не помнила из того, что было в этот вечер. Танцевала экосез и гросфатер, отец приглашал ее уехать, она просила остаться. Где бы она ни была, с кем бы ни говорила, она чувствовала на себе его взгляд. Потом она помнила, что попросила у отца позволения выйти в уборную оправить платье, что Элен вышла за ней, говорила ей, смеясь, о любви ее брата и что в маленькой диванной ей опять встретился Анатоль, что Элен куда-то

¹ обворожительна.

исчезла, они остались вдвоем, и Анатолий, взяв ее за руку, нежным голосом сказал:

— Я не могу к вам ездить, но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно люблю вас. Неужели никогда?.. — И он, заслоня ей дорогу, приближал свое лицо к ее лицу.

Блестящие большие мужские глаза его так близко были от ее глаз, что она не видела ничего, кроме этих глаз.

— Натали?! — прошептал вопросительно его голос, и кто-то больно сжимал ее руки. — Натали?!

«Я ничего не понимаю, мне нечего говорить», — сказал ее взгляд.

Горячие губы прижались к ее губам, и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободною, и в комнате послышался шум шагов и платья Элен. Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая, взглянула на него испуганно-вопросительно и пошла к двери.

— Un mot, un seul, au nom de Dieu¹, — говорил Анатолий.

Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило ей то, что случилось, и на которое она бы ему ответила.

— Nathalie, un mot, un seul², — все повторял он, видимо не зная, что сказать, и повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен.

Элен вместе с Наташей опять вышла в гостиную. Не оставшись ужинать, Ростовы уехали.

Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь; ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея? Князя Андрея она любила — она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля она любила тоже, это было несомненно. «Иначе разве все это могло бы быть? — думала она. — Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, могла улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то значит, что я с первой минуты полюбила его. Значит, он добр, благороден и прекрасен, и нельзя было не полюбить его. Что же мне делать, когда я люблю его и люблю другого?» — говорила она себе, не находя ответов на эти страшные вопросы.

¹ Одно слово, только одно, ради Бога.

² Натали, одно слово, одно.

XV

Вернувшись поздно вечером, Соня вошла в комнату Наташи и, к удивлению своему, нашла ее не раздетою, спящею на диване. На столе подле нее лежало открытое письмо Анатоля. Соня взяла письмо и стала читать его.

Она читала и взглядывала на спящую Наташу, на лице ее отыскивая объяснения того, что она читала, и не находила его. Лицо было тихое, кроткое и счастливое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться. Соня, бледная и дрожащая от страха и волнения, села на кресло и залилась слезами.

«Как я не видала ничего? Как могло это зайти так далеко? Неужели она разлюбила князя Андрея? И как могла она допустить до этого Курагина? Он обманщик и злодей, это ясно. Что будет с Nicolas, с милым, благородным Nicolas, когда он узнает про это? Так вот что значило ее взволнованное, решительное и неестественное лицо третьего дня, и вчера, и нынче, — думала Соня. — Но не может быть, чтоб она любила его! Вероятно, не зная от кого, она распечатала это письмо. Вероятно, она оскорблена. Она не может этого сделать!»

Соня утерла слезы и подошла к Наташе, опять взглядываясь в ее лицо. — Наташа! — сказала она чуть слышно.

Наташа проснулась и увидала Соню.

— А, вернулась?

И с решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения, она обняла подругу. Но, заметив смущение на лице Сони, лицо Наташи выразило смущение и подозрительность.

— Соня, ты прочла письмо? — сказала она.

— Да, — тихо сказала Соня.

Наташа восторженно улыбнулась.

— Нет, Соня, я не могу больше! — сказала Наташа. — Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга!.. Соня, голубушка, он пишет... Соня...

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

— А Болконский? — сказала она.

— Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива! — сказала Наташа. — Ты не знаешь, что такое любовь...

— Но, Наташа, неужели то все кончено?

Наташа большими, открытыми глазами смотрела на Соню, как будто не понимая ее вопроса.

— Что ж, ты отказываешь князю Андрею? — сказала Соня.

— Ах, ты ничего не понимаешь, ты не говори глупости, ты слушай, — с мгновенной досадой сказала Наташа.

— Нет, я не могу этому верить, — повторила Соня. — Я не понимаю. Как же ты год целый любила одного человека и вдруг... Ведь ты только три раза видела его. Наташа, я тебе не верю, ты шутишь. В три дня забыть все и так...

— Три дня, — сказала Наташа. — Мне, кажется, я сто лет люблю его. Мне кажется, что я никого никогда не любила прежде его. Да и не любила никого так, как его. Ты этого не можешь понять, Соня, постой, садись тут. — Наташа обняла и поцеловала ее. — Мне говорили, что это бывает, и ты, верно, слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде. Как только я увидела его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его и что я не могу не любить его. Да, раба! Что он мне велит, то я и сделаю. Ты не понимаешь этого. Что ж мне делать? Что ж мне делать, Соня? — говорила Наташа с счастливым и испуганным лицом.

— Но ты подумай, что ты делаешь, — говорила Соня, — я не могу этого так оставить. Эти тайные письма... Как ты могла его допустить до этого? — говорила она с ужасом и с отвращением, которое она с трудом скрывала.

— Я тебе говорила, — отвечала Наташа, — что у меня нет воли, как ты не понимаешь этого: я его люблю!

— Так я не допущу до этого, я расскажу, — с прорвавшимися слезами вскрикнула Соня.

— Что ты, ради Бога... Ежели ты расскажешь, ты мой враг, — заговорила Наташа. — Ты хочешь моего несчастья, ты хочешь, чтобы нас разлучили...

Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу.

— Но что было между вами? — спросила она. — Что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом?

Наташа не отвечала на ее вопрос.

— Ради Бога, Соня, никому не говори, не мучай меня, — упрашивала Наташа. — Ты помни, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла...

— Но зачем эти тайны? Отчего же он не ездит в дом? — спрашивала Соня. — Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе

полную свободу, ежели уж так; но я не верю этому. Наташа, ты подумала, какие могут быть тайные причины?

Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос, и она не знала, что отвечать на него.

— Какие причины, не знаю. Но, стало быть, есть причины!

Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой.

— Ежели бы были причины... — начала она. Но Наташа, угадывая ее сомнения, испуганно перебила ее.

— Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя, ты понимаешь ли? — прокричала она.

— Любит ли он тебя?

— Любит ли? — повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. — Ведь ты прочла письмо, ты видела его?

— Но если он неблагородный человек?

— Он — неблагородный человек? Коли бы ты знала! — говорила Наташа.

— Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой; и ежели ты не хочешь этого сделать, то я сделаю это; я напишу ему и скажу папа□, — решительно сказала Соня.

— Да я жить не могу без него! — закричала Наташа.

— Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об отце, о Nicolas.

— Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? — кричала Наташа. — Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, уйди, ради Бога, уйди: ты видишь, как я мучаюсь, — злобно кричала Наташа сдержанно-раздраженным и отчаянным голосом.

Соня разрыдалась и выбежала из комнаты.

Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразумения их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая, дал ей свободу, она просит ее забыть все и простить ее, ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Все это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.

В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную.

В день отъезда графа Соня с Наташей были званы на большой обед к Курагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолом, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что-то, желая не быть услышанной, и все время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первая с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.

— Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него, — начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтоб их похвалили. — Мы объяснились с ним нынче.

— Ну, что же, что? Ну что ж он сказал? Наташа, как я рада, что ты не сердись на меня. Говори мне все, всю правду. Что же он сказал?

Наташа задумалась.

— Ах, Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал... Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому. Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.

Соня грустно вздохнула.

— Но ведь ты не отказала Болконскому? — сказала она.

— А может быть, я и отказала! Может быть, с Болконским все кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?

— Я ничего не думаю, я только не понимаю этого...

— Подожди, Соня, ты все поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.

— Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что ж мне делать?

Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.

— Наташа, — сказала она, — ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?

— Опять, опять! — перебила Наташа.

— Наташа, я боюсь за тебя.

— Чего бояться?

— Я боюсь, что ты погубишь себя, — решительно сказала Соня, сама испугавшись того, что она сказала.

Лицо Наташи опять выразило злобу.

— И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.

— Наташа! — испуганно зывала Соня.

— Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!

Наташа выбежала из комнаты.

Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.

Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.

Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела все утро у окна гостиной, как будто ожидая чего-то, и что она сделала какой-то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.

Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была все время обеда и вечера в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).

После чая Соня увидела робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо.

И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой-нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.

«Она убежит с ним! — думала Соня. — Она на все способна. Нынче в лице ее было что-то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, — вспоминала Соня. — Да, это верно, она бежит с ним, — но что мне делать? — думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали ей, что у Наташи было какое-то страшное намерение. — Графа нет. Что мне делать? Написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить мне? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастья?.. Но, может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!»

Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно.

«Но так или иначе, — думала Соня, стоя в темном коридоре, — теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора, и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», — думала она.

XVI
<ПЛАН ПОХИЩЕНИЯ НАТАШИ РОСТОВОЙ>

Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташи, решила оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за шестьдесят верст от Москвы, в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу, и там на почтовых они должны были скакать за границу.

У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятых у сестры, и десять тысяч, занятых через посредство Долохова. <...>

Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.

— А знаешь что — брось все это: еще время есть! — сказал он.

— Дурак! — сказал Анатоль. — Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал... Это черт знает что такое!

— Право, брось, — сказал Долохов. — Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?

— Ну, опять, опять дразнить? Пошел к черту! А?.. — сморщившись, сказал Анатоль. — Право, не до твоих дурацких шуток. — И он ушел из комнаты.

Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел.

— Ты постой, — сказал он вслед Анатолю, — я не шучу, а дело говорю, поди, поди сюда.

Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно невольно покоряясь ему. <...>

— Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать: дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Ведь разве это так оставляют? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут...

— Ах! глупости, глупости! — опять сморщившись, заговорил Анатоль. — Ведь я тебе толковал. А? — И Анатоль с тем особенным пристрастием, которое бывает у людей тупых к умозаключению, до которого они дойдут

своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто повторял Долохову. — Ведь я тебе толковал, я решил: ежели этот брак будет недействителен, — сказал он, загибая палец, — значит, я не отвечаю; ну, а ежели действителен, все равно: за границей никто этого не будет знать, ну, ведь так? И не говори, не говори, не говори!

— Право, брось! Ты только себя свяжешь...

— Убирайся к черту, — сказал Анатолий и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. — Это черт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! — Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. — Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une déesse!!¹ А?

Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо желая еще повеселиться над ним.

— Ну, деньги выйдут, тогда что?

— Тогда что? А? — повторил Анатолий с искренним недоумением перед мыслью о будущем. — Тогда что? Там я не знаю что... Ну что глупости говорить! — Он посмотрел на часы. — Пора! <...>

XVII

<НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПОХИЩЕНИЕ>

Анатолий вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодежато надетой набекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.

— Ну, Федя, прощай, спасибо за все, прощай, — сказал Анатолий. — Ну, товарищи, друзья... — Он задумался... — молодости... моей, прощайте, — обратился он к Макарину и другим.

Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатолий, видимо, хотел сделать что-то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и, выставив грудь, покачивал одной ногой.

<...> Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь, когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. — сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.

¹ Какая ножка, любезный друг, какой взгляд! Богиня!!

— Будь здоров, — сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля.

— Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, — проговорил он.

— Ехать, ехать! — закричал Анатоля.

Балага было пошел из комнаты.

— Нет, стой, — сказал Анатоля. — Затвори двери, сесть надо. Вот так. — Затворили двери, и все сели.

— Ну, теперь марш, ребята! — сказал Анатоля, вставая.

Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.

— А шуба где? — сказал Долохов. — Эй, Игнашка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, — сказал Долохов, подмигнув. — Ведь она выскочит ни жива ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкался — тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад, — а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.

<...>

Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему, и вслед за тем выбежала горничная.

— На двор войдите, а то видно, сейчас выйdet, — сказала она.

Долохов остался у ворот. Анатоля вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.

Гаврило, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля.

— К барыне пожалуйста, — басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.

— К какой барыне? Да ты кто? — запыхавшимся шепотом спрашивал Анатоля.

— Пожалуйста, приказано привесть.

— Курагин! назад! — кричал Долохов. — Измена! Назад!

Долохов у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть за вошедшим Анатодем калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и, схватив за руку выбежавшего Анатоля, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.

XVIII

Марья Дмитриевна, застав заплаканную Сою в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе.

— Мерзавка, бесстыдница, — сказала она ей. — Слышать ничего не хочу! — Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее

Наташу, она заперла ее на ключ и, приказав дворнику пропустить в ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей.

Когда Гаврило пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она, нахмурившись, встала и, заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В двенадцатом часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре.

— Марья Дмитриевна, пустите меня к ней, ради Бога! — сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. «Гадко, скверно... в моем доме, мерзавка, девчонка... только отца жалко! — думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. — Как ни трудно, уж велю всем молчать и скрою от графа». Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна.

— Хороша, очень хороша! — сказала Марья Дмитриевна. — В моем доме любовникам свиданья назначать! Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. — Марья Дмитриевна тронула ее за руку. — Ты слушай, когда я говорю. Ты себя осрамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне твоего отца жалко. Я скрою. — Наташа не переменяла положения, но только все тело ее стало вскидываться от беззвучных, судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи.

— Счастье его, что он от меня ушел; да я найду его, — сказала она своим грубым голосом. — Слышишь ты, что ли, что я говорю? — Она поддела своею большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящие и сухие, губы поджаты, щеки опустились.

— Оставь...те что мне... я... умру... — проговорила она, злым усилием вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение.

— Наталья!.. — сказала Марья Дмитриевна. — Я тебе добра желаю. Ты лежи, ну лежи так, я тебя не трону, и слушай... Уж я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра придет, что я скажу ему? А?

Опять тело Наташи заколебалось от рыданий.

— Ну, узнает он, ну брат твой, жених!

— У меня нет жениха, я отказала, — прокричала Наташа.

— Все равно, — продолжала Марья Дмитриевна. — Ну, они узнают, что ж, они так оставят? Ведь он, отец твой, я его знаю, ведь он его на дуэль вызовет, хорошо это будет? А?

— Ах, оставьте меня, зачем вы всему помешали! Зачем? зачем? кто вас просил? — кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну.

— Да чего ж ты хотела? — вскрикнула, опять горячась, Марья Дмитриевна. — Что ж, тебя запирали, что ль? Ну кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить?.. Ну, увез бы он тебя, что ж ты думаешь, его бы не нашли? Твой отец, или брат, или жених? А он мерзавец, негодяй, вот что!

— Он лучше всех вас, — вскрикнула Наташа, приподнимаясь. — Если бы вы не мешали... Ах, Боже мой, что это, что это! Соня, за что? Уйдите!.. — И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала было опять говорить; но Наташа закричала: «Уйдите, уйдите, вы все меня ненавидите, презираете!» — И опять бросилась на диван.

Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что все это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя все забыть и не показывать ни перед кем вида, что что-нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей.

— Ну, пускай спит, — сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала, и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшей и подходившей к ней.

На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреич, он приехал из подмосковной. Он был очень весел: дело с покупщиком ладилось и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми растрескавшимися губами, сухими остановившимися глазами, она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она, очевидно, ждала известий о нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей.

Когда граф взшел к ней, она беспокойно оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась навстречу ему.

— Что с тобой, мой ангел, больна? — спросил граф. Наташа помолчала.

— Да, больна, — отвечала она.

На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая и не случилось ли чего-нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверения Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что-нибудь случиться; но ему так страшно было думать, что что-нибудь постыдное случилось с его любимой дочерью, он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было, и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.

ХІХ

<РАЗГОВОР ПЬЕРА С НАТАШЕЙ ОБ АНАТОЛЕ>

<...> Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи. Ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая-то судьба постоянно сводила его с нею.

«Что такое случилось? И какое им до меня дело? — думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марье Дмитриевне. — Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней!» — думал Пьер дорогой к Ахросимовой.

На Тверском бульваре кто-то окликнул его.

— Пьер! Давно приехал? — прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. В парных санях, на двух серых рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль с своим всегдашним товарищем Макариным. Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяно и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета набок, открывая завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы.

«И право, вот настоящий мудрец! — подумал Пьер, — ничего не видит дальше настоящей минуты удовольствия, ничего не тревожит его, — и

оттого всегда весел, доволен и спокоен. Что бы я дал, чтобы быть таким, как он!» — с завистью подумал Пьер.

В передней Ахросимовой лакей, снимая с Пьера его шубу, сказал, что Марья Дмитриевна просят к себе в спальню.

Отворив дверь в залу, Пьер увидел Наташу, сидевшую у окна, с худым, бледным и злым лицом. Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты.

— Что случилось? — спросил Пьер, входя к Марье Дмитриевне.

— Хорошие дела, — отвечала Марья Дмитриевна. — Пятьдесят восемь лет прожила на свете, такого сраму не видала. — И, взяв с Пьера честное слово молчать обо всем, что он узнает, Марья Дмитриевна сообщила ему, что Наташа отказала своему жениху без ведома родителей, что причиной этого отказа был Анатолий Курагин, с которым сводила ее жена Пьера и с которым Наташа хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем чтобы тайно обвенчаться.

Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташе Ростовой, променять Болконского на дурака Анатолия, уже женатого (Пьер знал тайну его женитьбы), и так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним! — этого Пьер не мог понять и не мог себе представить.

Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», — сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной. Но ему все-таки до слез жалко было князя Андрея, жалко было его гордости. И чем больше он жалел своего друга, тем с большим презрением и даже отвращением думал об этой Наташе, с таким выражением холодного достоинства сейчас прошедшей мимо него по зале. Он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость.

— Да как обвенчаться! — проговорил Пьер на слова Марьи Дмитриевны. — Он не мог обвенчаться: он женат.

— Час от часу не легче, — проговорила Марья Дмитриевна. — Хорош мальчик! То-то мерзавец! А она ждет, второй день ждет. По крайней мере ждать перестанет, надо сказать ей.

Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатолия, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего

она вызвала его. Марья Дмитриевна боялась, чтобы граф или Болконский, который мог всякую минуту приехать, узнав дело, которое она намерена была скрыть от них, не вызвали на дуэль Курагина, и потому просила его приказать от ее имени его шурина уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер обещал ей исполнить ее желание, только теперь поняв опасность, которая угрожала и старому графу, и Николаю, и князю Андрею. Кратко и точно изложив ему свои требования, она выпустила его в гостиную.

— Смотри же, граф ничего не знает. Ты делай, как будто ничего не знаешь, — сказала она ему. — А я пойду сказать ей, что ждать нечего! Да оставайся обедать, коли хочешь, — крикнула Марья Дмитриевна Пьеру.

Пьер встретил старого графа. Он был смущен и расстроен. В это утро Наташа сказала ему, что она отказала Болконскому.

— Беда, беда, mon cher¹, — говорил он Пьеру, — беда с этими девками без матери; уж я так тужу, что приехал. Я с вами откровенен буду. Слышали, отказала жениху, ни у кого не спросивши ничего. Оно, положим, я никогда этому браку очень не радовался. Положим, он хороший человек, но что ж, против воли отца счастья бы не было, и Наташа без женихов не останется. Да все-таки долго уже так продолжалось, да и как же это без отца, без матери, такой шаг! А теперь больна и Бог знает что! Плохо, граф, плохо с дочерьми без матери... — Пьер видел, что граф был очень расстроен, старался перевести разговор на другой предмет, но граф опять возвращался к своему горю.

Соня с встревоженным лицом вошла в гостиную.

— Наташа не совсем здорова; она в своей комнате и желала бы вас видеть. Марья Дмитриевна у нее и просит вас тоже.

— Да, ведь вы очень дружны с Болконским, верно что-нибудь передать хочет, — сказал граф. — Ах, Боже мой, Боже мой! Как все хорошо было! — И, взявшись за редкие виски седых волос, граф вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна объявила Наташе о том, что Анатолий был женат. Наташа не хотела верить ей и требовала подтверждения этого от самого Пьера. Соня сообщила это Пьеру в то время, как она через коридор провожала его в комнату Наташи.

Наташа, бледная, строгая, сидела подле Марьи Дмитриевны и от самой двери встретила Пьера лихорадочно-блестящим, вопросительным взглядом. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой, она только упорно смотрела на него, и взгляд ее спрашивал его только про то: друг ли он или такой

¹ дружок.

же враг, как и все другие, по отношению к Анатолю? Сам по себе Пьер, очевидно, не существовал для нее.

— Он все знает, — сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь к Наташе. — Он пускай тебе скажет, правду ли я говорила.

Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на ту, то на другую.

— Наталья Ильинична, — начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней и отвращения к той операции, которую он должен был делать, — правда это или не правда, это для вас должно быть все равно, потому что...

— Так это не правда, что он женат?

— Нет, это правда.

— Он женат был, и давно? — спросила она. — Честное слово?

Пьер дал ей честное слово.

— Он здесь еще? — спросила она быстро.

— Да, я его сейчас видел.

Она, очевидно, была не в силах говорить и делала руками знаки, чтоб оставили ее.

ТОМ III
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
XIII
<ОТЪЕЗД РОСТОВЫХ ИЗ МОСКВЫ ПЕРЕД СДАЧЕЙ ЕЕ
ФРАНЦУЗАМ>

31-го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.

Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда-то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с укусуными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрустала

и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.

Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все-таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.

— Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?

И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.

Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, фрейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.

Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.

Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговоривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.

— Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? — говорила Мавра Кузминишна. — Вам бы покойнее где на квартире... Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.

— Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Вон начальник... спросите. — И он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.

Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.

— Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она.

Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.

— Кого вам угодно, мамзель? — сказал он, суживая глаза и улыбаясь.

Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.

— О, да, отчего ж, можно, — сказал он.

Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.

— Можно, он сказал, можно! — шепотом сказала Наташа.

Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.

— Надо все-таки папаше доложить, — сказала Мавра Кузминишна.

— Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.

— Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.

— Ну, я спрошу.

Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.

— Вы спите, мама?

— Ах, какой сон! — сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.

— Мама, голубчик, — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. — Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите... — говорила она быстро, не переводя духа.

— Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, — сказала графиня.

Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.

— Я знала, что вы позволите... так я так и скажу. — И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.

— Досиделись мы! — с невольной досадой сказал граф. — И клуб закрыт, и полиция выходит.

— Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? — сказала ему Наташа.

XIV

<...> В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.

— Пожалуйте к нам, пожалуйста. Господа уезжают, весь дом пустой, — сказала старушка, обращаясь к старому слуге.

— Да что, — отвечал камердинер, вздыхая, — и довести не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.

— К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйста, — говорила Мавра Кузминишна. — А что, очень нездоровы? — прибавила она.

Камердинер махнул рукой.

— Не чаем довести! У доктора спросить надо. — И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.

— Хорошо, — сказал доктор.

Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.

— Господи Иисусе Христе! — проговорила она.

Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.

— Господа ничего не скажут... — говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m-me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.

XV

<РОСТОВЫ ОТДАЮТ ПОДВОДЫ ДЛЯ РАНЕННЫХ>

Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквях. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.

Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей все шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи все шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.

В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1-го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все — отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.

Проснувшись утром 1-го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.

— Ну, что, все готово, Васильич? — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)

— Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.

— Ну и славно, вот графиня проснется, и с Богом! Вы что, господа? — обратился он к офицеру. — У меня в доме? — Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.

— Граф, сделайте одолжение, позвольте мне... ради Бога... где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет... Мне на возу... все равно... — Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.

— А! да, да, да, — поспешно заговорил граф. — Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очисти одну или две телеги, ну там... что же... что нужно... — какими-то неопределенными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.

— Пожалуйста, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просят ехать.

— Ну, что же, можно сложить что-нибудь, — прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал.

В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниним летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m-me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают — добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.

— Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?

— Знаешь, ма сшиге, я вот что хотел тебе сказать... ма сшиге графинюшка... ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть... Знаешь, думаю, право, ма сшиге, вот, ма сшиге... пускай их свезут... куда же торопиться?.. — Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорвавшему детей, как какая-нибудь

постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, — и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.

Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу:

— Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше — детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.

Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

— Папа! об чем вы это? — сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.

— Ни о чем! Тебе что за дело! — сердито проговорил граф.

— Нет, я слышала, — сказала Наташа. — Отчего ж маменька не хочет?

— Тебе что за дело? — крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.

— Папенька, Берг к нам приехал, — сказала она, глядя в окно.

XVI

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса. Он 1 сентября приехал из армии в Москву.

Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что-то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.

Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.

Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамыши.

— Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, — сказал граф, — что войска? Отступают или будет еще сраженье?

— Один предвечный Бог, папаша, — сказал Берг, — может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу

вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они — оно, — поправился он, — показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать... Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), — я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти... да, мужественные и древние подвиги, — сказал он скороговоркой. — Генерал Барклай де Толли жертвовал жизнью своей впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! — И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого-то вопроса, смотрела на него.

— Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! — сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд... — «Россия не в Москве, она в сердцах ее сынов!» Так, папаша? — сказал Берг.

В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиванием головы, остановился подле нее.

— Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать...

— Я не понимаю, что делают люди, — сказала графиня, обращаясь к мужу, — мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому-нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет!

Граф хотел что-то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.

Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачал головой.

— А у меня к вам, папаша, большая просьба, — сказал он.

— Гм?.. — сказал граф, останавливаясь.

— Еду я сейчас мимо Юсупова дома, — смеясь, сказал Берг. — Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет.

Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с английским секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и...

Граф сморщился и заперхал.

— У графини просите, а я не распоряжаюсь.

— Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, — сказал Берг. — Мне для Верушки только очень бы хотелось.

— Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту!.. — закричал старый граф. — Голова кругом идет. — И он вышел из комнаты.

Графиня заплакала.

— Да, да, маменька, очень тяжелые времена! — сказал Берг.

Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что-то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.

На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.

— Ты знаешь за что? — спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.

— За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых, — сказал Петя. — Мне Васильич сказал. По-моему...

— По-моему, — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, — по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю! Разве мы немцы какие-нибудь?.. — Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не может быть, чтобы вы приказали.

Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь

— Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! — закричала она. — Они остаются!..

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам-то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе... Маменька!.. Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь! — сказала она, еще не вдруг, сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня!

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Mon cher, ты распорядись, как надо... Я ведь не знаю этого, — сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат... — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

— Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. — спрашивала Наташа. — Мы все-таки возьмем все самое нужное... — говорила Наташа.

Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.

Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе; точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.

Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходиться раненые из других домов. Многие

из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и все искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.

— Четверых еще можно взять, — говорил управляющий, — я свою повозку отдаю, а то куда же их?

— Да отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно-счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.

XVII

Во втором часу заложенные и уложенные четыре экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора.

Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденья для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.

— Это чья же коляска? — спросила Соня, высунувшись в окно кареты.

— А вы разве не знали, барышня? — отвечала горничная. — Князь раненый: он у нас ночевал и тоже с нами едут.

— Да кто это? Как фамилия?

— Самый наш жених бывший, князь Болконский! — вздыхая, отвечала горничная. — Говорят, при смерти.

Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по-дорожному, в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних, с тем чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.

— Маман, — сказала Соня, — князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами.

Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась.

— Наташа? — проговорила она.

И для Сони и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.

— Наташа не знает еще; но он едет с нами, — сказала Соня.

— Ты говоришь, при смерти?

Соня кивнула головой.

Графиня обняла Соню и заплакала.

«Пути Господни неисповедимы!» — думала она, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала выступать скрывавшаяся прежде от взгляда людей всемогущая рука.

— Ну, мама, все готово. О чем вы?.. — спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.

<...>

XXXI

<ВСТРЕЧА НАТАШИ РОСТОВОЙ С РАНЕНЫМ БОЛКОНСКИМ>

<...>

Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что-то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.

Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.

Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидела неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое-то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие-то человека (это были доктор и камердинер).

Камердинер приподнялся и прошептал что-то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление

девушки в белой рубашке, кофте и ночном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера: «Чего вам, зачем?» — только заставили скорее Наташу подойти к тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.

Он был такой же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.

Он улыбнулся и протянул ей руку.

XXXII

Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Горячее состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.

Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что-то понять и припомнить.

— Не хочу больше. Тимохин тут? — спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.

— Я здесь, ваше сиятельство.

— Как рана?

— Моя-то-с? Ничего. Вот вы-то? — Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что-то.

— Нельзя ли достать книгу? — сказал он.

— Какую книгу?

— Евангелие! У меня нет.

Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем-то очень остался недоволен, что-то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.

— И что это вам стоит! — говорил он. — У меня ее нет, — достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, — говорил он жалким голосом.

Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.

— Ах, бессовестные, право, — говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. — Только на минуту недосмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.

— Мы, кажется, подложили, Господи Иисусе Христе, — говорил камердинер.

В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытицах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда при виде страданий не любимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастье мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием. Потому-то он попросил Евангелие. Но

дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто-то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, и осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.

Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явления остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиной, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.

«Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, — думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами. — Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог. Но как же Бог предписал этот закон? Почему сын?..» И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услышал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услышал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. «Тянется, тянется! растягивается и все тянется», — говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушиваньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь

Андрей видел урывками и красный окруженный кругом свет свечи и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся о подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила см о.

«Но, может быть, это моя рубашка на столе, — думал князь Андрей, — а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити-пити-пити и ти-ти — и пити-пити-пити...» — Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, — тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.

«Да, любовь (думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить — любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью Божеской. И от этого-то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он... Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но Божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать...»

И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бум, ударила муха... И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило особенное. Все так же в этом мире воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что-то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка-сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса

было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.

«О, как тяжел этот непрерывающийся бред!» — подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло перед ним с силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий, шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что-то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой Божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что-то.

Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.

— Вы? — сказал он. — Как счастливо!

Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.

— Простите! — сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. — Простите меня!

— Я вас люблю, — сказал князь Андрей.

— Простите...

— Что простить? — спросил князь Андрей.

— Простите меня за то, что я сде...лала, — чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.

— Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.

Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно-любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их слышался говор.

Петр-камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.

— Это что такое? — сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. — Извольте идти, сударыня.

В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.

Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.

С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.

Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.

ЭПИЛОГ ЧАСТЬ I

VII

Осенью 1814-го года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые Горы.

В три года он, не продавая имения жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру.

Еще через три года, к 1820-му году, Николай так устроил свои денежные дела, что прикупил небольшое имение подле Лысых Гор и вел переговоры о выкупе отцовского Отрадного, что составляло его любимую мечту.

Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристрастился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно именье, а не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг — то есть работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание; мужик представлялся ему не только орудием, но и целью и судьей. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты.

Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения, назначал бурмистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли выбирать, и начальники его никогда не переменились. Прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в дебет и кредит (как он любил насмешливо говорить), он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества.

При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями. И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля и так много дохода, как у Николая.

С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их дармоедами и, как все говорили, распустил и избаловал их; когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности когда надо было

наказывать, он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме; только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его — он это знал — будет одобрено всеми против одного или нескольких.

Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека потому, что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не должно; но мерило это в душе его было твердо и непоколебимо.

Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: «С нашим русским народом», — и воображал себе, что он терпеть не может мужика.

Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты.

Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он, красный, загорелый и в поту, с запахом полыни и горчишки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил: «Ну еще денек, и мое и крестьянское все будет в гумне».

Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашней готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему он, добрый Nicolas, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело. Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала.

Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько: никогда и в голову мне не приходит; и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, — все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость... Вот что!» — говорил он, сжимая свой сангвинический кулак. «И справедливость, разумеется, — прибавлял он, — потому что если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает».

И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, — все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. «Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово — хозяин!»

IX

Был канун зимнего Николина дня, 5-е декабря 1820 года. В этот год Наташа с детьми и мужем с начала осени гостила у брата, Пьер был в Петербурге, куда он поехал по своим особенным делам, как он говорил, на три недели, и где он теперь проживал уже седьмую. Его ждали каждую минуту.

5-го декабря, кроме семейства Безуховых, у Ростовых гостил еще старый друг Николая, отставной генерал Василий Федорович Денисов.

6-го числа, в день торжества, в который съедутся гости, Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь, а потом принимать поздравления и предлагать закуски и говорить о дворянских выборах и урожае; но канун дня он еще считал себя вправе провести обычно. До обеда Николай проверил счета бурмистра из рязанской деревни, по имению племянника жены, написал два письма по делам и прошелся на гумно, скотный и конный дворы. Приняв меры против ожидаемого на завтра общего пьянства по случаю престольного праздника, он пришел к обеду и, не успев с глазу на глаз переговорить с женою, сел за длинный стол в двадцать приборов, за который собрались все домашние. За столом были

мать, жившая при ней старушка Белова, жена, трое детей, гувернантка, гувернер, племянник с своим гувернером, Соня, Денисов, Наташа, ее трое детей, их гувернантка и старичок Михаил Иваныч, архитектор князя, живший в Лысых Горах на покое.

Графиня Марья сидела на противоположном конце стола. Как только муж сел на свое место, по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стакан и рюмку, графиня Марья решила, что он не в духе, как это иногда с ним бывает, в особенности перед супом и когда он прямо с хозяйства придет к обеду. Графиня Марья знала очень хорошо это его настроение, и, когда она сама была в хорошем расположении, она спокойно ожидала, пока он поест супу, и тогда уже начинала говорить с ним и заставляла его признаваться, что он без причины был не в духе; но нынче она совершенно забыла это свое наблюдение; ей стало больно, что он без причины на нее сердится, и она почувствовала себя несчастной. Она спросила его, где он был. Он отвечал. Она еще спросила, все ли в порядке по хозяйству. Он неприятно поморщился от ее ненатурального тона и поспешно ответил.

«Так я не ошибалась, — подумала графиня Марья, — и за что он на меня сердится?» В тоне, которым он отвечал ей, графиня Марья слышала недоброежелательство к себе и желание прекратить разговор. Она чувствовала, что ее слова были неестественны; но она не могла удержаться, чтобы не сделать еще несколько вопросов.

Разговор за обедом благодаря Денисову скоро сделался общим и оживленным, и графиня Марья не говорила с мужем. Когда вышли из-за стола и пришли благодарить старую графиню, графиня Марья поцеловала, подставляя свою руку, мужа и спросила, за что он на нее сердится.

— У тебя всегда странные мысли; и не думал сердиться, — сказал он.

Но слово всегда отвечало графине Марье: да, сержусь и не хочу сказать.

Николай жил с своей женой так хорошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека; но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда, именно после самых счастливых периодов, на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности; это чувство являлось чаще всего во времена беременности графини Марьи. Теперь она находилась в этом периоде.

— Ну, *messieurs et mesdames*, — сказал Николай громко и как бы весело (графине Марье казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить), — я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть.

— И, не сказав больше ничего графине Марье, он ушел в маленькую диванную и лег на диван.

«Вот это всегда так, — думала графиня Марья. — Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна. Особенно в этом положении». Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало на свое желто-бледное, исхудавшее лицо с более, чем когда-нибудь, большими глазами. И все ей стало неприятно: и крик и хохот Денисова, и разговор Наташи, и в особенности тот взгляд, который на нее поспешно бросила Соня.

Соня всегда была первым предлогом, который избирала графиня Марья для своего раздражения.

Посидев с гостями и не понимая ничего из того, что они говорили, она потихоньку вышла и пошла в детскую.

Дети на стульях ехали в Москву и пригласили ее с собою. Она села, поиграла с ними, но мысль о муже и о беспричинной досаде его не переставая мучила ее. Она встала и пошла, с трудом ступая на цыпочки, в маленькую диванную.

«Может, он не спит; я объяснюсь с ним», — сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Марья не заметила его.

— *Chère Marie, il dort, je crois; il est si fatigué*¹, — сказала (как казалось графине Марье, везде ей встречавшаяся) Соня в большой диванной. — Андрюша не разбудил бы его.

Графиня Марья оглянулась, увидела за собой Андрюшу, почувствовала, что Соня права, и именно от этого вспыхнула и, видимо, с трудом удерживалась от жесткого слова. Она ничего не сказала и, чтобы не послушаться ее, сделала знак рукой, чтобы Андрюша не шумел, а все-таки шел за ней, и подошла к двери. Соня прошла в другую дверь. Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось его ровное, знакомое жене до малейших оттенков дыхание. Она, слыша это дыхание, видела перед собой его гладкий красивый лоб, усы, все лицо, на которое она так часто подолгу глядела, когда он спал, в тишине ночи. Николай вдруг пошевелился и крикнул. И в то же мгновение Андрюша из-за двери закричал:

— Папенька, маменька тут стоит.

Графиня Марья побледнела от испуга и стала делать знаки сыну. Он замолк, и с минуту продолжалось страшное для графини Марьи молчание. Она знала, как не любил Николай, чтобы его будили. Вдруг за дверью

¹ Мари, он спит, кажется; он устал.

послышалось новое кряхтение, движение, и недовольный голос Николая сказал:

— Ни минуты не дадут покоя. Мари, ты? Зачем ты привела его сюда?

— Я подошла только посмотреть, я не видала... извини...

Николай прокашлялся и замолк. Графиня Марья отошла от двери и проводила сына в детскую. Через пять минут маленькая черноглазая трехлетняя Наташа, любимица отца, узнав от брата, что папенька спит в маленькой диванной, не замеченная матерью, побежала к отцу. Черноглазая девочка смело скрипнула дверью, подошла энергическими шажками тупых ножек к дивану и, рассмотрев положение отца, спавшего к ней спиной, поднялась на цыпочки и поцеловала лежавшую под головой руку отца. Николай обернулся с умиленной улыбкой на лице.

— Наташа, Наташа! — слышался из двери испуганный шепот графини Марьи, — папенька спать хочет.

— Нет, мама, он не хочет спать, — с убедительностью отвечала маленькая Наташа, — он смеется.

Николай спустил ноги, поднялся и взял на руки дочь.

— Взойди, Маша, — сказал он жене. Графиня Марья вошла в комнату и села подле мужа.

— Я и не видала, как он за мной прибежал, — робко сказала она. — Я так...

Николай, держа одной рукой дочь, поглядел на жену и, заметив виноватое выражение ее лица, другой рукой обнял ее и поцеловал в волоса.

— Можно целовать мамá? — спросил он у Наташи.

Наташа застенчиво улыбнулась.

— Опять, — сказала она, с повелительным жестом указывая на то место, куда Николай поцеловал жену.

— Я не знаю, отчего ты думаешь, что я не в духе, — сказал Николай, отвечая на вопрос, который, он знал, был в душе его жены.

— Ты не можешь себе представить, как я бываю несчастна, одинока, когда ты такой. Мне все кажется...

— Мари, полно, глупости. Как тебе не совестно, — сказал он весело.

— Мне кажется, что ты не можешь любить меня, что я так дурна... и всегда... а теперь... в этом по...

— Ах, какая ты смешная! Не по хорошу мил, а по милу хорош. Это только Malvina и других любят за то, что они красивы; а жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто пропал и ничего не могу. Ну что, я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй, отрежь его...

— Нет, я не так, но я понимаю. Так ты на меня не сердисься?

— Ужасно сержусь, — сказал он, улыбаясь, и, встав и оправив волосы, стал ходить по комнате.

— Ты знаешь, Мари, о чем я думал? — начал он, теперь, когда примирение было сделано, тотчас же начиная думать вслух при жене. Он не спрашивал о том, готова ли она слушать его; ему все равно было. Мысль пришла ему, стало быть, и ей. И он рассказал ей свое намерение уговорить Пьера остаться с ними до весны.

Графиня Марья выслушала его, сделала замечания и начала в свою очередь думать вслух свои мысли. Ее мысли были о детях.

— Как женщина видна уже теперь, — сказала она по-французски, указывая на Наташу. — Вы нас, женщин, упрекаете в нелогичности. Вот она — наша логика. Я говорю: папа хочет спать, а она говорит: нет, он смеется. И она права, — сказала графиня Марья, счастливо улыбаясь.

— Да, да! — И Николай, взяв на свою сильную руку дочь, высоко поднял ее, посадил на плечо, перехватив за ножки, и стал с ней ходить по комнате. У отца и у дочери были одинаково бессмысленно-счастливые лица.

— А знаешь, ты, может быть, несправедлив. Ты слишком любишь эту, — шепотом по-французски сказала графиня Марья.

— Да, но что ж делать?... Я стараюсь не показывать...

В это время в сенях и передней послышались звуки блока и шагов, похожих на звуки приезда.

— Кто-то приехал.

— Я уверена, что Пьер. Я пойду узнаю, — сказала графиня Марья и вышла из комнаты.

В ее отсутствие Николай позволил себе галопом прокатить дочь вокруг комнаты. Запыхавшись, он быстро скинул смеющуюся девочку и прижал ее к груди. Его прыжки напомнили ему танцы, и он, глядя на детское круглое счастливое личико, думал о том, какую она будет, когда он начнет вывозить ее старичком и, как, бывало, покойник отец танцевывал с дочерью Данилу Купора, пройдет с нею мазурку.

— Он, он, Nicolas, — сказала через несколько минут графиня Марья, возвращаясь в комнату. — Теперь ожила наша Наташа. Надо было видеть ее восторг и как ему досталось сейчас же за то, что он просрочил. — Ну, пойдем скорее, пойдем! Расстаньтесь же наконец, — сказала она, улыбаясь, глядя на девочку, жавшуюся к отцу. Николай вышел, держа дочь за руку.

Графиня Марья осталась в диванной.

— Никогда, никогда не поверила бы, — прошептала она сама с собой, — что можно быть так счастливой. — Лицо ее просияло улыбкой; но в то же самое время она вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде. Как будто, кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту.

Х

Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем), и очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее разившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде.

Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге, и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила ли она или нет; ей даже казалось, что нет), но она, нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необыкновенному. Одна старая графиня, материнским чутьем понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа, как она, не столько шутя, сколько взаправду, кричала в Отрадном. Мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью.

— Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, — говорила графиня, — так что это даже глупо.

Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарования, из которых у ней было одно необычайно сильное — пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарование. Она, то что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся — то есть всей душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом.

Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы, для того чтобы привлечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, — может быть, теперь это и было бы приятно ей, — она не знала, — но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.

Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтожный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности.

Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, — была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, — и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать.

И чем больше она вникала, не умом, а всей душой, всем существом своим в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее

вниманием, и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно.

Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, вопросами, были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.

Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье.

Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствия от обеда, тогда, как и теперь, не существуют для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества — семья.

Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком.

Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи.

Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака — семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если бы было другое.

Наташа не любила общества вообще, но она тем более дорожила обществом родных — графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше.

Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность — она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине — были обычным

предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.

Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы на обеды так, для того чтобы провести время, не смел расходовать деньги для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался — читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, чтобы Наташа вскакивала и бежала исполнять его.

Весь дом руководился только мнимыми повелениями мужа, то есть пожеланиями Пьера, которые Наташа старалась угадывать. Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей — не только все делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. И она верно угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и, раз угадав ее, она уже твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему желанию, она боролась против него его же оружием.

Так, в тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, Наташа, после родов первого слабого ребенка, когда им пришлось переменить трех кормилиц и Наташа заболела от отчаяния, Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилиц. Следующим ребенком, несмотря на противудействие матери, докторов и самого мужа, восставших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем и с тех пор всех детей кормила сама.

Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили подолгу, потом после спора Пьер, к радости и удивлению своему, находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль,

против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенную от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении мысли Пьера.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо: все не совсем хорошее было откинута. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим — таинственным, непосредственным отражением.

XI

Два месяца тому назад Пьер, уже гостя у Ростовых, получил письмо от князя Федора, призывавшего его в Петербург для обсуждения важных вопросов, занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из главных основателей.

Прочтя это письмо, Наташа, как она читала все письма мужа, несмотря на всю тяжесть для нее отсутствия мужа, сама предложила ему ехать в Петербург. Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа. На робкий, вопросительный взгляд Пьера после прочтения письма она отвечала просьбой, чтобы он ехал, но только определил бы ей верно время возвращения. И отпуск был дан на четыре недели.

С того времени, как вышел срок отпуска Пьера, две недели тому назад, Наташа находилась в неперестававшем состоянии страха, грусти и раздражения.

Денисов, отставной, недовольный настоящим положением дел генерал, приехавший в эти последние две недели, с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то любимого человека, смотрел на Наташу. Унылый, скучающий взгляд, невпопад ответы и разговоры о детской было все, что он видел и слышал от прежней волшебницы.

Наташа была все это время грустна и раздражена, в особенности тогда, когда, утешая ее, мать, брат или графиня Марья старались извинить Пьера и придумать причины его замедления.

— Все глупости, все пустяки, — говорила Наташа, — все его размышления, которые ни к чему не ведут, и все эти дурацкие общества,

— говорила она о тех самых делах, в великую важность которых она твердо верила. И она уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю.

Никто ничего не мог ей сказать столько успокоивающего, разумного, сколько это маленькое трехмесячное существо, когда оно лежало у ее груди и она чувствовала его движение рта и сопенье носиком. Существо это говорило: «Ты сердисься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отомстить, ты боишься, а я вот он. А я вот он...» И отвечать нечего было. Это было больше, чем правда.

Наташа в эти две недели беспокойства так часто прибегала к ребенку за успокоением, так возилась над ним, что она перекормила его и он заболел. Она ужасалась его болезни, а вместе с тем этого-то ей и нужно было. Ухаживая за ним, она легче переносила беспокойство о муже.

Она кормила, когда зашумел у подъезда возок Пьера, и няня, зная, чем обрадовать барыню, неслышно, но быстро, с сияющим лицом, вошла в дверь.

— Приехал? — быстрым шепотом спросила Наташа, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить засыпавшего ребенка.

— Приехали, матушка, — прошептала няня.

Кровь бросилась в лицо Наташи, и ноги невольно сделали движение; но вскочить и бежать было нельзя. Ребенок опять открыл глазки, взглянул. «Ты тут», — как будто сказал он и опять лениво зачмокал губами.

Потихоньку отняв грудь, Наташа покачала его, передала няне и пошла быстрыми шагами в дверь. Но у двери она остановилась, как бы почувствовав упрек совести за то, что, обрадовавшись, слишком скоро оставила ребенка, и оглянулась. Няня, подняв локти, переносила ребенка за перильца кровати.

— Да уж идите, идите, матушка, будьте покойны, идите, — улыбаясь, прошептала няня, с фамильярностью, устанавливающейся между няней и барыней.

И Наташа легкими шагами побежала в переднюю.

Денисов, с трубкой, вышедший в залу из кабинета, тут в первый раз узнал Наташу. Яркий, блестящий, радостный свет лился потоками из ее преобразившегося лица.

— Приехал! — проговорила она ему на бегу, и Денисов почувствовал, что он был в восторге от того, что приехал Пьер, которого он очень мало любил. Вбежав в переднюю, Наташа увидела высокую фигуру в шубе, разматывающую шарф.

«Он! он! Правда! Вот он, — проговорила она сама с собой, и налетев на него, обняла, прижала к себе, головой к груди, и потом, отстранив, взглянула на заиндевшее, румяное и счастливое лицо Пьера. — Да, это он; счастливый, довольный...»

И вдруг она вспомнила все те муки ожидания, которые она перечувствовала в последние две недели: сияющая на ее лице радость скрылась; она нахмурилась, и поток упреков и злых слов излился на Пьера.

— Да, тебе хорошо! Ты очень рад, ты веселился... А каково мне? Хоть бы ты детей пожалел. Я кормлю, у меня молоко испортилось. Петя был при смерти. А тебе очень весело. Да, тебе весело.

Пьер знал, что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше; знал, что этот взрыв с ее стороны неприличен, и знал, что через две минуты это пройдет; он знал, главное, что ему самому было весело и радостно. Он бы хотел улыбнуться, но и не посмел подумать об этом. Он сделал жалкое, испуганное лицо и согнулся.

— Я не мог, ей-богу! Ну что Петя?

— Теперь ничего, пойдем. Как тебе не совестно! Кабы ты мог видеть, какая я без тебя, как я мучилась...

— Ты здорова?

— Пойдем, пойдем, — говорила она, не выпуская его руки. И они пошли в свои комнаты.

Когда Николай с женою пришли отыскивать Пьера, он был в детской и держал на своей огромной правой ладони проснувшегося грудного сына и тетёшкал его. На широком лице его с раскрытым беззубым ртом остановилась веселая улыбка. Буря уже давно вылилась, и яркое, радостное солнце сияло на лице Наташи, умиленно смотревшей на мужа и сына.

— И хорошо всё переговорили с князем Федором? — говорила Наташа.

— Да, отлично.

— Видишь, держит (голову, разумела Наташа). Ну, как он меня напугал!

— А княгиню видел? правда, что она влюблена в этого?..

— Да, можешь себе представить...

В это время вошли Николай с графиней Марьей, Пьер, не спуская с рук сына, нагнувшись, поцеловался с ними и отвечал на расспросы. Но, очевидно, несмотря на многое интересное, что нужно было переговорить, ребенок в колпачке, с качающейся головой, поглощал все внимание Пьера.

— Как мил! — сказала графиня Марья, глядя на ребенка и играя с ним. — Вот этого я не понимаю, Nicolas, — обратилась она к мужу, — как ты не понимаешь прелесть этих чудо прелестей.

— Не понимаю, не могу, — сказал Николай, холодным взглядом глядя на ребенка. — Кусок мяса. Пойдем, Пьер.

— Ведь главное, он такой нежный отец, — сказала графиня Марья, оправдывая своего мужа, — но только, когда уже год или этак...

— Нет, Пьер отлично их нянчит, — сказала Наташа, — он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребенка. Посмотрите.

— Ну, только не для этого, — вдруг, смеясь сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне.

XII

Как в каждой настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое. Каждое событие, случившееся в доме, было одинаково — радостно или печально — важно для всех этих миров; но каждый мир имел совершенно свои, независимые от других, причины радоваться или печалиться какому-либо событию.

Так приезд Пьера было радостное, важное событие, и таким оно отразилось на всех.

Слуги, вернейшие судьи господ, потому что они судят не по разговорам и выраженным чувствам, а по действиям и образу жизни, — были рады приезду Пьера, потому что при нем, они знали, граф перестанет ходить ежедневно по хозяйству и будет веселее и добрее и еще потому, что всем будут богатые подарки к празднику.

Дети и гувернантки радовались приезду Безухова, потому что никто так не вовлекал их в общую жизнь, как Пьер. Он один умел на клавикордах играть тот экосез (единственная его пьеса), под который можно танцевать, как он говорил, всевозможные танцы, и он привез, наверное, всем подарки.

Николенька, который был теперь пятнадцатилетний худой, с вьющимися русыми волосами и прекрасными глазами, болезненный, умный мальчик, радовался потому, что дядя Пьер, как он называл его, был предметом его восхищения и страстной любви. Никто не внушал Николеньке особенной любви к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспитательница его, графиня Марья, все силы употребляла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа так же, как она его любила, и Николенька любил дядю; но любил с чуть заметным оттенком презрения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя Николай, он

хотел быть ученым, умным и добрым, как Пьер. В присутствии Пьера на его лице было всегда радостное сияние, и он краснел и задыхался, когда Пьер обращался к нему. Он не проранивал ни одного слова из того, что говорил Пьер и потом с Десалем и сам с собою вспоминал и соображал значение каждого слова Пьера. Прошедшая жизнь Пьера, его несчастья до 12-го года (о которых он из слышанных слов составил себе смутное поэтическое представление), его приключения в Москве, плен, Платон Каратаев (о котором он слышал от Пьера), его любовь к Наташе (которую тоже особенно любовью любил мальчик) и, главное, его дружба к отцу, которого не помнил Николенька, — все это делало для него из Пьера героя и святыню.

Из прорывавшихся речей об его отце и Наташе, из того волнения, с которым говорил Пьер о покойном, из той осторожной, благоговейной нежности, с которой Наташа говорила о нем же, мальчик, только что начинавший догадываться о любви, составил себе понятие о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу. Отец же этот, которого не помнил мальчик, представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга. И мальчик был счастлив вследствие приезда Пьера.

Гости были рады Пьеру, как человеку, всегда оживлявшему и сплочавшему всякое общество.

Взрослые домашние, не говоря о жене, были рады другу, при котором жилось легче и спокойнее.

Старушки были рады и подаркам, которые он привезет, и, главное, тому, что опять оживет Наташа.

Пьер чувствовал эти различные на себя воззрения различных миров и спешил каждому дать ожидаемое.

Пьер, самый рассеянный, забывчивый человек, теперь, по списку, составленному женой, купил все, не забыв ни комиссий матери и брата, ни подарков на платье Беловой, ни игрушек племянникам. Ему странно показалось в первое время своей женитьбы это требование жены — исполнить и не забыть всего того, что он взялся купить, и поразило серьезное огорчение ее, когда он в первую свою поездку все перезабыл. Но впоследствии он привык к этому. Зная, что Наташа для себя ничего не поручала, а для других поручала только тогда, когда он сам вызывался, он теперь находил неожиданное для самого себя детское удовольствие в этих покупках подарков для всего дома и ничего никогда не забывал. Ежели

он заслуживал упреки от Наташи, то только за то, что покупал лишнее и слишком дорого. Ко всем своим недостаткам, по мнению большинства: неряшливости, опущенности, или качествам, по мнению Пьера, Наташа присоединяла еще и скупость.

С того самого времени, как Пьер стал жить большим домом, семьей, требующей больших расходов, он, к удивлению своему, заметил, что он проживал вдвое меньше, чем прежде, и что его расстроенные последнее время, в особенности долгами первой жены, дела стали поправляться.

Жить было дешевле потому, что жизнь была связана: той самой дорогой роскоши, состоящей в таком роде жизни, что всякую минуту можно изменить его, Пьер не имел уже, да и не желал иметь более. Он чувствовал, что образ жизни его определен теперь раз навсегда, до смерти, что изменить его не в его власти, и потому этот образ жизни был дешев.

XIV

Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз.

— Non, monsieur Dessales, je demanderai a ma tante de rester¹, — отвечал также шепотом Николенька Болконский.

— Ma tante, позвольте мне остаться, — сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.

— Когда вы тут, он оторваться не может... — сказала она ему.

— Je vous le ramènerai tout à l'heure, monsieur Dessales; bonsoir², — сказал Пьер, подавая швейцарцу руку, и, улыбаясь, обратился к Николеньке. — Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится, — прибавил он, обращаясь к графине Марье.

— На отца? — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера...

Но Наташа, зная все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою душевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург — советоваться с новым другом своим, князем Федором; и она помогла ему вопросом: что же его дело с князем Федором?

— О чем это? — спросил Николай.

¹ Нет, мосье Десаль, я попрошусь у тетенки остаться.

² Я сейчас приведу вам его, мосье Десаль; покойной ночи.

— Все о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. — Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.

— Что ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай. — Что же именно сделать?

— А вот что...

— Пойдемте в кабинет, — сказал Николай.

Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услышала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенька Болконский, не замеченный дядей, пришел туда же и сел в тени, к окну, у письменного стола.

— Ну, что ж ты сделаешь? — сказал Денисов.

— Вечно фантазии, — сказал Николай.

— Вот что, — начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как он говорил. — Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди *sans foi ni loi*¹, которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев и *tutti quanti*...² Ты согласен, что ежели бы сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то, чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели? — обратился он к Николаю.

— Ну, да к чему ты это говоришь? — сказал Николай.

— Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как, с тех пор как существует правительство, взглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер, значительно взглядывая исподлобья: — князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности, все это хорошо, разумеется. Цель прекрасная, и все; но в настоящих обстоятельствах надо другое.

В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.

¹ без совести и чести.

² и тому подобные... (итал.). — Ред.

— Зачем ты здесь?

— Отчего? Оставь его, — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: — Этого мало, и я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, — надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и разворачивается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги — и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю: расширьте круг общества; *mot d'ordre*¹ пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и все больше и больше хмурился.

— Да с какою же целью деятельность? — вскрикнул он. — И в какие отношения станете вы к правительству?

— Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого боремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество — следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло, — возвышая голос, сказал Николай.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос.

Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто и что она все это давно знала (ей казалось это потому, что она знала то, из чего все это выходило, — всю душу Пьера). Но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру.

Еще более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик с тонкой шеей, выходящей из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал —

¹ лозунг.

сам не замечая этого — попадавшие ему в руки сургучи и перья на столе дяди.

— Совсем не то, что ты думаешь, а вот что такое было немецкий тугендбунд и тот, который я предлагаю.

— Ну, бг'ат, это колбасникам хог'ошо тугендбунд. А я этого не понимаю, да и не выговог'ю, — слышался громкий, решительный голос Денисова. — Все сквег'но и мег'зко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нг'авится — так бунт, вот это так! Je suis vot'e homme!¹

Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность, о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.

— Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. — Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадромом и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь.

После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая.

Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.

— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами? — спросил он.

Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во

¹ Тогда я ваш!

время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал он неохотно и вышел из кабинета.

<...>

XVI

Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривает жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга, путем противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было не ладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера. Когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре.

С того самого времени, как они остались одни и Наташа с широко раскрытыми, счастливыми глазами подошла к нему тихо и вдруг, быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала: «Теперь весь, весь мой, мой! Не уйдешь!» — с этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга.

Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими.

Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытье брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа призналась искренно в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам, и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это.

Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами.

— Я совсем разучился говорить с дамами, — сказал он, — просто скучно. Особенно, я так был занят.

Наташа пристально посмотрела на него и продолжала:

— Мари, это такая прелесть! — сказала она. — Как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать...

— Ах, как он похож на отца, — перебил Пьер.

Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем: ему неприятно было воспоминание о его споре с шурином и хотелось знать об этом мнение Наташи.

— У Николенки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тем, чтобы ouvrir une carrière¹, — сказала она, повторяя слова, раз сказанные Пьером.

— Нет, главное для Николая, — сказал Пьер, — мысли и рассуждения — забава, почти препровождение времени. Вот он собирает библиотеку и за правило поставил не покупать новой книги, не прочтя купленной, — и Сисмонди, и Руссо, и Монтескье, — с улыбкой прибавил Пьер. — Ты ведь знаешь, как я его... — начал было он смягчать свои слова; но Наташа перебила его, давая чувствовать, что это не нужно.

— Так ты говоришь, для него мысли забава...

— Да, а для меня все остальное забава. Я все время в Петербурге как во сне всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное забава.

— Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми, — сказала Наташа. — Которая больше всех обрадовалась? Верно, Лиза?

— Да, — сказал Пьер и продолжал то, что занимало его, — Николай говорит, мы не должны думать. Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это (я тебе могу сказать), что без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель. Князь Сергей славный человек и умен.

Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль, но одно смущало ее. Это было то, что он был ее муж, «Неужели такой важный и нужный человек для общества — вместе с тем мой муж? Отчего это так случилось?» Ей хотелось выразить ему это сомнение. «Кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех?» — спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером.

<...>

¹ открыть поприще.

В это же время внизу, в отделении Николеньки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка (мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка). Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николенька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках — таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл *le fil de la Vierge*¹. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они — он и Пьер — неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.

— Это вы сделали? — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. — Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец — князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви; он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся.

«Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил — я сделаю это. Муций Сцевола сжег свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился. И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога: чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал.

— *Etes-vous indisposé?*² — послышался голос Десалея.

— *Non*³ — отвечал Николенька и лег на подушку. «Он добрый и хороший, я люблю его, — думал он о Десале. — А дядя Пьер! О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен...»

¹ нитями Богородицы.

² Вы нездоровы?

³ Нет.



А.В. ВАМПИЛОВ

**СТАРШИЙ СЫН
(В сокращении)**

Комедия в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БУСЫГИН
СИЛЬВА
САРАФАНОВ
ВАСЕНЬКА
КУДИМОВ
НИНА
МАКАРСКАЯ
ДВЕ ПОДРУГИ
СОСЕД

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Картина первая**

Поздний весенний вечер. Двор в предместье. Ворота. Один из подъездов каменного дома. Рядом – небольшой деревянный домик, с крыльцом и окном во двор. Тополь и скамья. На улице слышны смех и голоса.

Появляются Бусыгин, Сильва и две девушки. Сильва ловко, как бы между прочим, наигрывает на гитаре. Бусыгин ведет под руку одну из девушек. Все четверо заметно мерзнут.

СИЛЬВА (напевает).

Ехали на тройке – не догонишь,
А вдали мелькало – не поймешь...

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Ну вот, мальчики, мы почти дома.

БУСЫГИН. Почти – не считается.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА (Бусыгину). Разрешите руку. (Освобождает руку.) Спасибо, что проводили. Здесь мы дойдем сами.

СИЛЬВА (перестает играть). Сами? Это как понять?.. Вы сюда (показывает), а мы, значит, обратно?..

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Значит, так.

СИЛЬВА (Бусыгину). Слушай, друг, как тебе это нравится?

БУСЫГИН (первой девушке). Вы нас бросаете на улице?

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. А вы как думали?

СИЛЬВА. Думали?.. Да я был уверен, что мы едем к вам в гости.

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. В гости? Ночью?

БУСЫГИН. А что особенного?

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА. Значит, вы ошиблись. К нам ночью гости не ходят.

СИЛЬВА (Бусыгину). Что ты на это скажешь?

БУСЫГИН. Спокойной ночи.

ДЕВУШКИ (вместе). Приятного сна!

СИЛЬВА (останавливает их). Одумайтесь, девушки! Куда спешить? Вы же сейчас с тоски выть будете! Образумьтесь, пригласите в гости!

ВТОРАЯ ДЕВУШКА. В гости! Гляди-ка какой быстрый!.. Потанцевали, угостили вином и сразу – в гости! Не на тех напали!

СИЛЬВА. Скажи, какое коварство! (Задерживает вторую девушку.) Дай хоть поцелую на сон грядущий!

Вторая девушка вырывается, и обе быстро уходят.

Девушки, девушки, остановитесь! <...>

<...> С улицы появляется Васенька, останавливается в воротах. В его поведении много беспокойства и неуверенности, он чего-то ждет. На улице послышались шаги. Васенька бросается к подъезду – в воротах появляется Макарская.

Васенька спокойно, изображая нечаянную встречу, идет к воротам.

ВАСЕНЬКА. О, кого я вижу!

МАКАРСКАЯ. А, это ты.

ВАСЕНЬКА. Привет!

МАКАРСКАЯ. Привет, кирюшечка, привет. Что ты здесь делаешь? (Идет к деревянному домику.)

ВАСЕНЬКА. Да так, решил немного прогуляться. Погуляем вместе?

МАКАРСКАЯ. Что ты, какое гулянье – холод собачий. (Достает ключ.)

<...>

ВАСЕНЬКА (сдается). Ты замерзла?..

МАКАРСКАЯ (открывая ключом дверь). Ну вот... Умница. Разлюбишь – надо слушаться. (На пороге.) И вообще: я хочу, чтобы ты меня больше не ждал, не следил за мной, не ходил по пятам. Потому что из этого ничего не выйдет... А сейчас иди спать. (Входит в дом.)

ВАСЕНЬКА (приближается к двери, дверь закрывается). Открой! Открой! (Стучит.) Открой на минутку! Мне надо тебе сказать. Слышишь? Открой!

МАКАРСКАЯ (в окне). Не ори! Весь город разбудишь!

ВАСЕНЬКА. Черт с ним, с городом!.. (Садится на крыльцо.) Пусть поднимаются и слушают, какой я дурак!

МАКАРСКАЯ. Подумаешь, как интересно... Васенька, поговорим серьезно. Пойми ты, пожалуйста, у нас с тобой ничего не может быть. Кроме скандала, конечно. Подумай, глупенький, я тебя старше на десять лет! Ведь у нас разные идеалы и все такое – неужели вам этого в школе не объясняли? Ты должен дружить с девочками. Теперь в школе, кажется, и любовь разрешается – вот и чудесно. Вот и люби кого полагается. <...>

ВАСЕНЬКА (вдруг). Дрянь! Дрянь!

МАКАРСКАЯ. Что?!. Что такое?!. Ну и порядки! Каждая шпана может тебя оскорбить!.. Нет, без мужа, видно, на этом свете не проживешь!.. Иди отсюда. Ну!

Молчание.

ВАСЕНЬКА. Прости... Прости, я не хотел.

МАКАРСКАЯ. Уходи! Баиньки! Щенок бесхвостый! (Захлопывает окно.) <...>

Васенька бредет в свой подъезд. Появляются Бусыгин и Сильва.

Бусыгин свистнул.

(Мерзнет.) Брр... Джентльмены!.. Провождение устроили! Обормоты!

БУСЫГИН. Далеко до дома?

СИЛЬВА. Километров двадцать, не меньше!.. И все эти скромницы! Какого черта мы с ними связались! <...>

БУСЫГИН. Что же будем делать?

СИЛЬВА. Слушай, а как тебя зовут? Извини, там, в кафе, я толком не расслышал.

БУСЫГИН. Я тоже не расслышал.

СИЛЬВА. Давай по новой, что ли...

Трясут друг друга за руку.

БУСЫГИН. Бусыгин. Владимир.

СИЛЬВА. Севостьянов. Семен. В просторечии – Сильва.

БУСЫГИН. Почему Сильва?

СИЛЬВА. А черт его знает. Пацаны – прозвать прозвали, а объяснить не объяснили.

БУСЫГИН. Я тебя как-то видел. На главной улице.

СИЛЬВА. А как же! Я принимаю там с восьми до одиннадцати. Каждый вечер.

БУСЫГИН. Где-нибудь работаешь?

СИЛЬВА. Обязательно. Пока в торговле. Агентом.

БУСЫГИН. Что это за работа такая?

СИЛЬВА. Нормальная. Учет и контроль. А ты? Трудисься?

БУСЫГИН. Студент.

СИЛЬВА. Мы будем друзьями, ты увидишь!

БУСЫГИН. Подожди. Кто-то идет.

СИЛЬВА (мерзнет). А ведь прохладно, скажи!

<Бусыгин стучится к Макаарской, просит пустить его с приятелем погреться. Получает отказ, как и Сильва, безуспешно звонивший в подъезде в несколько квартир>

Картина вторая

Квартира Сарафановых. Среди вещей и мебели старый диван и выдавшее виды трюмо. Входная дверь, дверь на кухню, дверь в другую комнату. Закрытое занавеской окно во двор. На столе – собранный рюкзак. Васенька за столом пишет письмо.

ВАСЕНЬКА (читает вслух написанное). «.. Я люблю тебя так, как тебя не будет любить никто и никогда. Когда-нибудь ты это поймешь. А теперь будь спокойна. Ты своего добила: я тебя ненавижу. Прощай. С.В.».

<...>

Васенька достает из кармана письмо, вкладывает его в конверт, конверт надписывает. Стук в дверь.

ВАСЕНЬКА (машинально). Да, войдите.

Входят Бусыгин и Сильва.

БУСЫГИН. Добрый вечер.

ВАСЕНЬКА. Здравствуйте.

БУСЫГИН. Можем мы видеть Андрея Григорьевича Сарафанова?

ВАСЕНЬКА (поднимается). Его нет дома.

БУСЫГИН. Когда он вернется?

ВАСЕНЬКА. Он только что вышел. Когда вернется, не знаю.

СИЛЬВА. А куда он ушел, если не секрет?

ВАСЕНЬКА. Я не знаю. (С беспокойством.) А что такое?

БУСЫГИН. Ну а... как его здоровье?

ВАСЕНЬКА. Отца?.. Ничего... Гипертония.

БУСЫГИН. Гипертония? Надо же!.. И давно у него гипертония?

ВАСЕНЬКА. Давно.

БУСЫГИН. Ну а вообще он как?.. Как успехи?.. Настроение?

СИЛЬВА. Да, как он тут... Ничего?

ВАСЕНЬКА. А в чем, собственно, дело?

БУСЫГИН. Познакомимся. Владимир.

ВАСЕНЬКА. Василий... (Сильве.) Василий.

СИЛЬВА. Семен... В простонародье – Сильва.

ВАСЕНЬКА (с подозрением). Сильва?

СИЛЬВА. Сильва. Ребята еще в этом... в интернате прозвали, за пристрастие к этому...

БУСЫГИН. К музыке.

СИЛЬВА. Точно.

ВАСЕНЬКА. Ясно. Ну а отец вам зачем?

СИЛЬВА. Зачем? В общем, мы пришли это... повидаться.

ВАСЕНЬКА. Вы давно с ним не виделись?

БУСЫГИН. Как тебе сказать? Самое печальное, что мы никогда с ним не виделись.

ВАСЕНЬКА (настороженно). Непонятно...

СИЛЬВА. Ты только не удивляйся...

ВАСЕНЬКА. Я не удивляюсь... Откуда же вы его знаете?

БУСЫГИН. А это уже тайна.

ВАСЕНЬКА. Тайна?

СИЛЬВА. Страшная тайна. Но ты не удивляйся.

БУСЫГИН (другим тоном). Ладно. (Васеньке.) Мы зашли погреться. Не возражаешь, мы здесь погреемся?

Васенька молчит, он порядком встревожен.

Мы опоздали на электричку. Фамилию твоего отца мы прочли на почтовом ящике. (Не сразу.) Не веришь?

ВАСЕНЬКА (с тревогой). Почему? Я верю, но...

БУСЫГИН. Что? (Делает к Васеньке шаг-два, Васенька пятится. Сильве.)

Бойтся.

ВАСЕНЬКА. Зачем вы пришли?

БУСЫГИН. Он нам не верит.

ВАСЕНЬКА. В случае чего – я кричать буду.

БУСЫГИН (Сильве). Что я говорил? (Он тянет время, греется.) Ночью всегда так: если один, значит, вор, если двое, значит, бандиты. (Васеньке.) Нехорошо. Люди должны доверять друг другу, известно тебе это? Нет?.. Напрасно. Плохо тебя воспитывают.

СИЛЬВА. Да-а...

БУСЫГИН. Ну отцу твоему, допустим, некогда...

ВАСЕНЬКА (перебивает). Зачем вам отец? Что вам от него надо?

БУСЫГИН. Что нам надо? Доверия. Всего-навсего. Человек человеку брат, надеюсь, ты об этом слышал. Или это тоже для тебя новость? (Сильве.) Ты только посмотри на него. Брат страждущий, голодный, холодный стоит у порога, а он даже не предложит ему присесть.

СИЛЬВА (до сих пор слушал Бусыгина с недоумением, вдруг воодушевляется – его осенило). Действительно!

ВАСЕНЬКА. Зачем вы пришли?

БУСЫГИН. Ты так ничего и не понял?

ВАСЕНЬКА. Конечно, нет.

СИЛЬВА (изумляясь). Неужели не понял?

БУСЫГИН (Васеньке). Видишь ли...

СИЛЬВА (перебивает). Да что там! Я ему скажу! Скажу откровенно! Он мужчина, он поймет. (Васеньке, торжественно). Полное спокойствие, я открываю тайну. Все дело в том, что он (указывает на Бусыгина) твой родной брат!

БУСЫГИН. Что?

ВАСЕНЬКА. Что-о?

СИЛЬВА (нагло). Что?

Небольшая пауза.

Да, Василий! Андрей Григорьевич Сарафанов – его отец. Неужели ты до сих пор этого не понял?

Бусыгин и Васенька в равном удивлении.

<...>

Входит Васенька с бутылкой водки, стаканами. Ставит все на стол. Он смущен и растерян.

СИЛЬВА (наливает). Да ты не расстраивайся! Если разобраться, у всех у нас родни гораздо больше, чем полагается... За вашу встречу!

Пьют. Васенька с трудом, но выпивает.

<...>

Все трое уходят в кухню. Появляется Сарафанов. Он проходит к двери в соседнюю комнату, открывает ее, затем осторожно закрывает. В это время Васенька выходит из кухни и тоже закрывает за собой дверь. Васенька заметно опьянел, его обуяла горькая ирония.

САРАФАНОВ (замечает Васеньку). Ты здесь... А я прогулялся по улице. Там дождь пошел. Я вспомнил молодость.

ВАСЕНЬКА (развязно). И очень кстати.

САРАФАНОВ. В молодости я, бывало, делал глупости, но я никогда не доходил до истерики.

ВАСЕНЬКА. Слушай, что я тебе скажу.

САРАФАНОВ (перебивает). Васенька, так поступают только слабые люди. Кроме того, не забывай, остался только месяц до экзаменов. Школу тебе все-таки надо кончить.

ВАСЕНЬКА. Папа, пока ты гулял по дождичку...

САРАФАНОВ (перебивает). И в конце концов, не можете же вы так сразу – и ты и Нина. Нельзя же так... Нет-нет, никуда ты не уедешь. Я тебя не пущу.

ВАСЕНЬКА. Папа, у нас гости, и необычные гости... Вернее, так: гость и еще один...

САРАФАНОВ. Васенька, гость и еще один – это два гостя. Кто к нам пришел, говори толком.

ВАСЕНЬКА. Твой сын. Твой старший сын.

САРАФАНОВ (не сразу). Ты сказал... Чей сын?

ВАСЕНЬКА. Твой. Да ты не волнуйся... Я, например, все это понимаю, не осуждаю и даже не удивляюсь. Я ничему не удивляюсь...

САРАФАНОВ (не сразу). И такие-то шутки у вас в ходу? И они вам нравятся?

ВАСЕНЬКА. Какие шутки? Он на кухне. Ужинает.

САРАФАНОВ (внимательно смотрит на Васеньку). Кто-нибудь там ужинает. Возможно... Но знаешь, милый, что-то ты мне не нравишься... (Разглядел.) Постой! Да ты пьян, по-моему!

ВАСЕНЬКА. Да, я выпил! По такому случаю.

САРАФАНОВ (грозно). Кто разрешил тебе выпивать?!

ВАСЕНЬКА. Папа, о чем речь? Тут такой случай! Я никогда не думал, что у меня есть брат, а тут – пожалуйста. Иди взгляни на него, ты еще не так напьешься.

САРАФАНОВ. Ты что, шельмец, издеваешься?

ВАСЕНЬКА. Да нет, я говорю серьезно. Он здесь проездом, очень по тебе соскучился, он...

САРАФАНОВ. Кто – он?

ВАСЕНЬКА. Твой сын.

САРАФАНОВ. Тогда кто ты?

ВАСЕНЬКА. А! Разговаривай с ним сам!

САРАФАНОВ (направляется к кухне; услышав голоса, останавливается у двери, возвращается к Васеньке). Сколько их там?

ВАСЕНЬКА. Двое. Я тебе говорил.

САРАФАНОВ. А второй? Он тоже хочет, чтобы я его усыновил?

ВАСЕНЬКА. Папа, они взрослые люди. Сам подумай, зачем взрослому человеку родители?

САРАФАНОВ. По-твоему, не нужны?

ВАСЕНЬКА. А, прости, пожалуйста. Я хотел сказать, что взрослому человеку не нужны чужие родители.

Молчание.

САРАФАНОВ (прислушивается). Невероятно. Свои дети бегут – это я еще могу понять. Но чтобы ко мне приходили чужие да еще взрослые! Сколько ему лет?

ВАСЕНЬКА. Лет двадцать.

САРАФАНОВ. Черт знает что!.. Ты сказал, двадцать лет?.. Бред какой-то!.. Лет двадцать!.. Лет двадцать... (Задумывается поневоле.) Двадцать лет... двадцать... (Опускается на стул.)

ВАСЕНЬКА. Не огорчайся, папа. Жизнь – темный лес...

Из кухни вышли было Бусыгин и Сильва, но, увидев Сарафанова, отступают назад и, приоткрыв дверь, слушают его разговор с Васенькой.

САРАФАНОВ. Двадцать лет... Закончилась война... Двадцать лет... Мне было тридцать четыре года... (Поднимается.)

Бусыгин приоткрывает дверь.

ВАСЕНЬКА. Я понимаю, папа...

САРАФАНОВ (вдруг рассердился). Да что вспоминать! Я был солдат! Солдат, а не вегетарианец! (Ходит по комнате.)

Бусыгин, когда это возможно, приоткрывает дверь из кухни и слушает.

ВАСЕНЬКА. Я тебя понимаю.

САРАФАНОВ. Что?.. Что-то слишком много ты понимаешь! С твоей матерью мы еще не были знакомы, имей в виду!

ВАСЕНЬКА. Я так и думал, папа. Да ты не расстраивайся, если разобраться...

САРАФАНОВ (перебивает). Нет-нет! Глупости... Черт знает что...

Сарафанов находится между кухней и дверью в прихожую. Таким образом, у Сильвы и Бусыгина нет возможности бежать.

ВАСЕНЬКА. Думаешь, он врет? А зачем?

САРАФАНОВ. Он что-то напутал! Ты увидишь, что он напутал! Подумай! Подумай-ка! Чтобы быть моим сыном, ему надо на меня походить! Это первое.

ВАСЕНЬКА. Папа, он на тебя походит.

САРАФАНОВ. Что?.. Вздор! Вздор! Тебе просто показалось... Вздор! Стоит только мне спросить, сколько ему лет, и ты сразу поймешь, что все это чистейший вздор! Чепуха!.. А если уж на то пошло, сейчас ему должно быть... Должно быть...

Бусыгин высовывается из-за двери.

Двадцать... двадцать один год! Да! Двадцать один! Вот видишь! Не двадцать и не двадцать два!.. (Поворачивается к двери.)

Бусыгин исчезает.

ВАСЕНЬКА. А если ему двадцать один?

САРАФАНОВ. Не может этого быть!

ВАСЕНЬКА. А вдруг?

САРАФАНОВ. Ты имеешь в виду совпадение? Случайное совпадение, верно?.. Ну что же, такое не исключено... Тогда... Тогда... (Думает.) Не мешай мне, не мешай... Его мать должны звать... ее должны звать...

Бусыгин высовывается.

(Его осенило.) Галина!

Бусыгин исчезает.

САРАФАНОВ. Что ты теперь скажешь? Галина! А не Татьяна и не Тамара!

ВАСЕНЬКА. А фамилия? А отчество?

Бусыгин высовывается.

САРАФАНОВ. Ее отчество?.. (Неуверенно.) По-моему, Александровна...

Бусыгин исчезает.

ВАСЕНЬКА. Так. А фамилия?

САРАФАНОВ. Фамилия, фамилия... Достаточно имени... Вполне достаточно.

ВАСЕНЬКА. Конечно, конечно. Ведь прошло столько лет...

САРАФАНОВ. Вот именно! Где он был раньше? Вырос и теперь ищет отца? Зачем? Я выведу его на чистую воду, ты увидишь... Как его зовут?

ВАСЕНЬКА. Володя. Смелей, папа. Он тебя любит.

САРАФАНОВ. Любит?.. Но... За что?

ВАСЕНЬКА. Не знаю, папа... Родная кровь.

САРАФАНОВ. Кровь?.. Нет-нет, ты меня не смеди... (Садится.) Они, говоришь, с поезда?.. Ты нашел, что поесть?

ВАСЕНЬКА. Да. И выпить. Выпить и закусить.

Бусыгин и Сильва пытаются ускользнуть. Они делают два-три бесшумных шага по направлению к выходу. Но в этот момент Сарафанов повернулся на стуле, и они тут же возвращаются в исходную позицию.

САРАФАНОВ (поднимается). Может, мне тоже следует выпить?

ВАСЕНЬКА. Не робей, папа.

Бусыгин и Сильва снова появляются.

САРАФАНОВ. Подожди, я... застегнусь. (Поворачивается к Бусыгину и Сильве.)

Бусыгин и Сильва мгновенно делают вид, будто они только что вышли из кухни. Молчание.

БУСЫГИН. Добрый вечер!

САРАФАНОВ. Добрый вечер...

Молчание.

ВАСЕНЬКА. Ну, вот вы и встретились... (Бусыгину.) Я все ему рассказал... (Сарафанову.) Не волнуйся, папа...

САРАФАНОВ. Вы... садитесь... Садитесь!.. (Пристально разглядывает того и другого.)

Бусыгин и Сильва садятся.

(Стоит.) Вы... недавно с поезда?

БУСЫГИН. Мы... собственно, давно. Часа три назад.

Молчание.

САРАФАНОВ (Сильве). Так... Вы, значит, проездом?..

БУСЫГИН. Да. Я возвращаюсь с соревнований. Вот... решил повидаться...

САРАФАНОВ (все внимание на Бусыгина). О! Значит, вы спортсмен! Это хорошо... Спорт в вашем возрасте, знаете... А сейчас? Снова на соревнования? (Садится.)

БУСЫГИН. Нет. Сейчас я возвращаюсь в институт.

САРАФАНОВ. О! Так вы студент?

СИЛЬВА. Да, мы медики. Будущие врачи.

САРАФАНОВ. Вот это правильно! Спорт – спортом, а наука – наукой. Очень правильно... Прошу прощения, я пересяду. (Пересаживается ближе к Бусыгину.) В двадцать лет на все хватает времени – и на учебу и на спорт; да-да, прекрасный возраст... (Решился.) Вам двадцать лет, не правда ли?

БУСЫГИН (печально, с мягкой укоризной). Нет, вы забыли. Мне двадцать один.

САРАФАНОВ. Что?.. Ну конечно! Двадцать один, разумеется! А я что сказал? Двадцать? Ну конечно же, двадцать один...

СИЛЬВА. Да вы не огорчайтесь. Ведь если разобраться, тут радоваться надо, а не огорчаться. По-моему.

ВАСЕНЬКА. В самом деле, папа.

САРАФАНОВ. Я – конечно... Я рад... (Искательно.) Мы все здесь рады, не правда ли?

БУСЫГИН. Конечно... Больше всех – я.

САРАФАНОВ (приободрившись). Васенька, есть у нас что-нибудь выпить? Дай нам выпить!

ВАСЕНЬКА. Это можно. (Уходит на кухню.)

Молчание. Потом Бусыгин и Сарафанов, обращаясь друг к другу, начинают говорить одновременно. Затем они одновременно извиняются.

БУСЫГИН. Говорите...

САРАФАНОВ. Нет-нет, говорите... (Осторожно.) Говори...

Входит Васенька, ставит на стол бутылку и стаканы, затем усаживается и, устроивши руки на спинке стула, роняет голову. Он пьян. Сарафанов торопливо наполняет стаканы.

БУСЫГИН. Я хотел сказать, что вот... Наконец-то наступил тот момент, о котором...

Появляется Нина.

НИНА (сердито). Вы дадите мне спать?.. Что это? Что здесь происходит?

ВАСЕНЬКА (приподнимает голову). Ты только не удивляйся... (Роняет голову.)

Появление Нины производит на Бусыгина и Сильву большое впечатление.

НИНА. Что вы здесь устроили? (Сарафанову.) До сих пор по ночам ты пил один. В чем дело?

САРАФАНОВ (неуверенно). Нина, у нас большая радость. Наконец-то нашелся твой старший брат.

НИНА. Что?

САРАФАНОВ. Твой старший брат. Познакомься с ним.

НИНА. Что такое?.. Кто нашелся? Какой брат?

СИЛЬВА (подталкивает Бусыгина). Это он. Вот такой (показывает) парень.

НИНА (Бусыгину). Это ты – брат?

БУСЫГИН. Да... А что?

СИЛЬВА. Что тут особенного?

ВАСЕНЬКА (не поднимая головы, негромко, нетрезвым голосом). Да, что особенного?

САРАФАНОВ (Нине). Ты о нем не знала. К сожалению... (Бусыгину.) Я не говорил тебе. Откровенно говоря, я боялся, что ты меня... позабыл.

ВАСЕНЬКА. Вот. Он боялся.

БУСЫГИН. Что вы, как я мог забыть...

САРАФАНОВ. Прости, я был не прав.

НИНА. Так. Давайте по порядку. Выходит, ты – его отец, а он – твой сын. Так, что ли?

САРАФАНОВ. Да.

НИНА (не сразу). Ну что ж. Вполне возможно.

ВАСЕНЬКА. Вполне.

НИНА (Бусыгину). А где, интересно, ты был раньше?

ВАСЕНЬКА. Да, где он был раньше?

НИНА (легонько хлопнув Васеньку по голове). Помолчи!

САРАФАНОВ. Нина! Нашелся твой брат. Неужели ты этого не понимаешь?

НИНА. Понимаю, но мне интересно, где он был раньше.

ВАСЕНЬКА (приподняв голову). Не волнуйся. Нашу мать папа тогда еще в глаза не видел. Верно, папа?

САРАФАНОВ. Помолчи-ка!

НИНА. Да, давненько вы не виделись. А ты уверен, что он твой сын?

(Бусыгину.) Сколько тебе лет?

Васенька засыпает.

СИЛЬВА. Взгляните на них. Неужели вы не видите?

НИНА (не сразу). Нет. Не похожи.

СИЛЬВА (Бусыгину, обидчиво). По-моему, нас тут в чем-то подозревают.

НИНА (Сарафанову о Сильве). А это кто такой? Тоже родственник?

БУСЫГИН. Он мой приятель. Его зовут Семен.

НИНА. Так сколько тебе лет, я не расслышала?

БУСЫГИН. Двадцать один.

НИНА (Сарафанову). Что ты на это скажешь?

САРАФАНОВ. Нина! Нельзя же так... И потом, я уже спрашивал...

НИНА. Ладно. (Бусыгину.) Как выглядит твоя мать, как ее зовут, где она с ним встречалась, почему она не получала с него алименты, как ты нас нашел, где ты был раньше – рассказывай подробно.

СИЛЬВА (С беспокойством). Как в милиции...

НИНА. А вы что думали?.. По-моему, вы жулики.

САРАФАНОВ. Нина!

БУСЫГИН. А что, разве похожи?

НИНА (не сразу). Похожи. (Бусыгину.) Рассказывай, а мы слушаем.

СИЛЬВА (Бусыгину, трусливо). На твоём месте я бы обиделся и ушел. Прямо сейчас.

БУСЫГИН. Об отце я узнал совсем недавно...

НИНА. От кого?

БУСЫГИН. От своей матери. Мою мать зовут Галина Александровна, с отцом они встречались в тысяча девятьсот сорок пятом году...

САРАФАНОВ (в волнении). Сынок!

БУСЫГИН. Папа!

Сарафанов и Бусыгин бросаются друг к другу и обнимаются.

СИЛЬВА (Нине). Как?... Кровь, она себя чувствует.

САРАФАНОВ. Нина! У меня никакого сомнения! Он твой брат! Обними его!

Обними своего брата! (Бусыгину.) Обнимитесь!

БУСЫГИН. Я рад, сестренка... (Вдруг подходит к Нине и обнимает ее – с перепугу, но не без удовольствия.) Очень рад...

СИЛЬВА (завистливо). Еще бы.

САРАФАНОВ (окончательно расстроган). Боже мой... Ну кто бы мог подумать?

НИНА (Бусыгину). Может быть, довольно? (Освобождается. Она весьма смущена.)

САРАФАНОВ. Кто бы мог подумать... Я рад, рад!

БУСЫГИН. Я тоже.

НИНА. Да... Очень трогательно...

СИЛЬВА. Ура! Предлагаю выпить.

САРАФАНОВ (Бусыгину). Есть предложение выпить. Как, сынок?

БУСЫГИН. Выпить? Это просто необходимо.

НИНА. Выпить? Вот теперь я вижу: вы похожи.

Все смеются.

СИЛЬВА (выпивает; Нине и Бусыгину). Встаньте-ка рядом!.. Вот так!

(Поставил их рядом.) Теперь возьмитесь за руки... Вот так! (Сарафанову.)

Взгляните на них!

Нина освобождает руку. Она снова и чуть заметно теряетя.

<...>

Сарафанов уходит в другую комнату. Бусыгин бросается к Сильве, расталкивает его. Сильва мычит и отбивается.

БУСЫГИН. Вставай, Сильва! Вставай, тебе говорят.

СИЛЬВА (просыпаясь). Ну и жизнь...

БУСЫГИН. Вставай!

СИЛЬВА. Я целый месяц не высыпаюсь! Один только день и есть, чтобы поспать, воскресенье – и вот, пожалуйста. Слушай, а сестричка твоя ничего себе, а? Я бы не стал сопротивляться.

БУСЫГИН. Вставай, не разговаривай. (Бросает Сильве рубаху.)
Пошевеливайся!..

Сильва поднимается.

Ты дрыхнул, а мы всю ночь играли друг у друга на нервах.

СИЛЬВА. Что?.. Они нас уже поняли?.. Нет? (Быстро одевается.)
Все равно. Смех смехом, а дело такое. Подсудное. (Сунул ноги в ботинки.)

Помчались!

Бусыгин стоит в задумчивости.

Ну что ты?

БУСЫГИН. Этот папаша – святой человек.

СИЛЬВА. Да, здорово ты его напаял. Просто красиво.

БУСЫГИН. Нет уж, не дай-то бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову. Идем.

Бусыгин и Сильва направляются к дверям. В это время из другой комнаты с подушкой в руках выходит Сарафанов.

САРАФАНОВ. Сынок!

Бусыгин замирает на месте. Сильва останавливается на пороге.

Куда ты, сынок?

БУСЫГИН (оборачивается к Сарафанову). Я... собственно, мы...
Нам пора...

СИЛЬВА. Да-да, надо ехать. У нас ведь там эта... сессия на носу.

БУСЫГИН. Да... к сожалению...

САРАФАНОВ. Как? Ты хочешь уехать?.. Прямо сегодня? Сейчас?

БУСЫГИН. Да, папа. Мы и так задержались. Пропустили много занятий, и вообще...

Сарафанов выронил из рук подушку.

(Поднимает ее.) Но ты не думай, закончится сессия – и я сразу же приеду...

САРАФАНОВ (опустившись на стул). Нет-нет, я понимаю... Конечно... С какой стати? Чего я еще должен был ждать?.. Встретились, поговорили, чего еще?

БУСЫГИН. Я приеду... В конце июня я приеду... Ты слышишь?

Сарафанов молчит.

<...>

СИЛЬВА. Ну?.. Чего ты ждешь?

БУСЫГИН. Иди... Я уйду позже...

СИЛЬВА. Слушай! Напаяли мужика – хватит. Идем отсюда...

БУСЫГИН. Иди, я тебя не держу.

СИЛЬВА. А что ты хочешь?.. Что ты задумал, объясни. Может, я тоже рискну.

БУСЫГИН. Нет, иди лучше.

СИЛЬВА. А что такое?.. Если воровство, то я, конечно, пас. Воровство – это не мой жанр.

БУСЫГИН. Дубина. Он сейчас войдет, а нас нет. Можешь ты это себе представить?

СИЛЬВА. Ну, представил. Ну и что?

БУСЫГИН. Ты как знаешь, а я пока останусь. Ненадолго.

СИЛЬВА. Зачем?

Бусыгин молчит.

Смотри, старичок, задымишь ты на этом деле. Говорю тебе по-дружески, предупреждаю: рвем когти, пока не поздно. Из соседней комнаты выходит Нина. Она в халате и с полотенцем на плече.

НИНА (Сильве). Доброе утро... (Бусыгину.) Ну, здравствуй... братец...

Бусыгин и Сильва здороваются.

<...>

Входит Сарафанов. В руке у него табакерка.

САРАФАНОВ. Вот, сынок. Это пустячок, серебряная табакерка, но дело в том, что в нашей семье она всегда принадлежала старшему сыну. Еще прадед передал ее моему деду, а ко мне она попала от твоего деда – моего отца.

Теперь она твоя.

Небольшая пауза.

БУСЫГИН (в замешательстве берет табакерку, кладет ее на стол). Спасибо, папа... Ты знаешь, я решил задержаться. На денек. А завтра улечу самолетом.

САРАФАНОВ. А это возможно?

БУСЫГИН. А почему нет?

САРАФАНОВ. Прекрасная мысль! Мы проведем вместе целый день... Сегодня воскресенье?.. Ах, беда! К семи мне придется съездить в филармонию, но это ненадолго. Я там в первом отделении, это час,

ну полтора, не больше. Да, великое дело авиация, незаменимая вещь!.. (Сильва.) А вы, Семен? Надеюсь, вы тоже остаетесь?

СИЛЬВА. Вы меня спрашиваете?.. Я, знаете ли...

Появляется Нина и проходит в другую комнату. Сильва провожает ее выразительным взглядом. Бусыгин тоже смотрит на нее.

Конечно! Куда он, туда и я. Мы с ним неразлучные.

САРАФАНОВ. Вот и прекрасно. Я вижу, вы настоящие товарищи.

Из другой комнаты выходит Васенька. Он морщится, волосы у него всклокочены.

(Весело.) Ага... Сарафанов-младший. Состояние плачевное.

БУСЫГИН. Первое похмелье.

Сарафанов и Бусыгин смеются.

<...>

Появляется Нина с веником и тряпкой.

Я тебе помогу... Ты не против?

НИНА. Помоги... Будешь пол мести. Умешь?

Появляется Сильва.

СИЛЬВА. Я вам помогу.

НИНА. Спасибо, но, по-моему, мы и вдвоем управимся.

СИЛЬВА. Нет, но, может быть, что-нибудь переставить, вынести...

БУСЫГИН. Ты только будешь нам мешать.

СИЛЬВА. Но, дети! Обратите внимание. (Подводит Бусыгина и Нину к зеркалу.) Вы так походите! Я говорю, плакать хочется.

БУСЫГИН. Иди-иди. (Подталкивает Сильву.) Можно мне поговорить со своей сестрой? (Закрывает за Сильвой дверь.)

НИНА. Да нет, совсем мы не похожи. Ну просто ничего общего...

БУСЫГИН. Возможно...

НИНА. Даже странно... От папы, конечно, всего можно ожидать, но такого... Кто бы мог подумать, что у меня есть брат, да еще старший. Да еще такой интересный.

БУСЫГИН. А я? Разве я думал, что у меня такая симпатичная сестренка?

НИНА. Симпатичная?

БУСЫГИН. Конечно!

НИНА. Ты так считаешь?

БУСЫГИН. Нет, я считаю, что ты красивая.

НИНА. Красивая или симпатичная, я что-то не пойму.

БУСЫГИН. И то и другое, но... мне надо с тобой поговорить...

НИНА. Да?

БУСЫГИН. Значит, ты уезжаешь...

НИНА. А что?.. Ну да, уезжаю. Отец тебе, наверно, объяснил.

БУСЫГИН. Так... Значит, уезжаешь... И что, выходит, насовсем?

НИНА. Ну да. А что тебя волнует?

БУСЫГИН. Меня?.. Видишь ли, какое дело. Ведь отец человек уже немолодой и не такой уж здоровый, и характер у него... В общем, отец есть отец, и если

Васенька уедет, то... ты сама понимаешь...

НИНА. Не понимаю...

БУСЫГИН. Но ведь он останется один.

НИНА. Так... И что?

БУСЫГИН. Но ведь ты могла бы...

НИНА. Взять его с собой?

БУСЫГИН. Ну, в общем... Или могла бы здесь остаться.

НИНА. Вот как?.. Надо же, какой ты заботливый.

БУСЫГИН. А как иначе? Ведь он тебе не кто-нибудь – отец родной.

НИНА. А тебе?.. И если ты такой заботливый сын, почему бы тебе не взять его к себе?

БУСЫГИН. Мне?

НИНА. А что ты так удивился? Ты – старший сын, если на то пошло, это твой долг... Что?

БУСЫГИН. Нет, но... Но ведь я же... Я только вчера здесь появился. И потом, ты забываешь о моей матери.

НИНА. А ты забываешь о моем женихе... (Начинает уборку.) Легко тебе быть заботливым. Со стороны... Никто его здесь не бросает, приедет к нам на свадьбу, помогать ему будем, письма писать, а впоследствии... Мы оставляем его здесь только на первое время. На год, ну, на полтора.

БУСЫГИН. У летчиков что, медовый месяц длится полтора года?

НИНА. Тебе не нравится, что он летчик?

БУСЫГИН. Почему же? Мне нравится... Это замечательно... Неотразимо. "Не улетай, родной, не улетай".

НИНА. Я не понимаю твоего тона... Сегодня я вас познакомлю. Он хороший парень.

БУСЫГИН. Я представляю. Наверное, он большой и добрый.

НИНА. Да, ты прав.

БУСЫГИН. Некрасивый, но обаятельный.

НИНА. Ведь ты его в глаза не видел! За что ты на него накинулся? Да если хочешь знать, он ничем не хуже тебя! Нисколько!

БУСЫГИН. Не спорю.

НИНА. Даже лучше!

БУСЫГИН. Не возражаю. Какое же сравнение. Конечно, он лучше.

НИНА. Он шире тебя в плечах и выше! На полголовы выше!

БУСЫГИН (развел руками). Тогда тем более.

НИНА. Что – тем более?.. Ты нахал! Нахал и выскочка!

БУСЫГИН. Да?

НИНА. И псих! Папа твой псих, и ты такой же.

БУСЫГИН. Спасибо.

НИНА. Пожалуйста!

Пауза. Нина метет пол, Бусыгин протирает мебель. У стола случайно наталкиваются друг на друга и прекращают работу.

Ты обиделся?

БУСЫГИН. Да нет...

НИНА. Я психанула... А ты тоже хорош...

БУСЫГИН. Да нет, зря я на него напустился, в самом деле.

НИНА. Значит, мир? (Протягивает ему руки.) Я тебя обругала... Не сердись?

БУСЫГИН (привлекает ее к себе). Да нет же, нет...

Стоят лицом к лицу, и дело клонится к поцелую. Небольшая пауза. Потом враз и неожиданно отпрянули друг от друга.

(Откашлявшись, весьма неестественно.) Так как же с отцом, мы недоговорили...

НИНА (имея в виду только что происшедшее). Ты странный какой-то...

БУСЫГИН. Послушай, сестренка. Надо что-то решать...

НИНА. Очень странный...

БУСЫГИН. С отцом, я имею в виду... Почему – странный? Просто я не спал всю ночь, ничего странного...

Появляются Сарафанов и Сильва. Сильва наигрывает на гитаре.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

Двор. Домик Макарской, тополь, скамья, часть ограды, но улицы не видно. Макарская, сидя на скамейке, смотрит в сторону ворот.

Появляется Васенька. Останавливается в нерешительности, потом преувеличенно бодро направляется к воротам.

МАКАРСКАЯ (замечает его). Васенька!

Васенька замирает.

Подойди ко мне. Я тебя отшлепаю. За вчерашнее.

ВАСЕНЬКА (не оборачиваясь). Для этой цели поищите кого-нибудь другого.

МАКАРСКАЯ. Да подойди, не бойся.

ВАСЕНЬКА. У вас хорошее настроение, да? Вам хочется поиграть?.. Роль мышки меня больше не устраивает.

МАКАРСКАЯ. Иди сюда, дурачок.

ВАСЕНЬКА (не выдерживает, оборачивается и подходит). Ну вот... Ты можешь мною позавтракать... Если хочешь.

МАКАРСКАЯ. Какой ты смешной... Хочешь со мной в кино?

ВАСЕНЬКА (не сразу). В самом деле?.. Когда?

МАКАРСКАЯ. А что там идет? Есть что-нибудь приличное?

ВАСЕНЬКА. Есть! Итальянский фильм! Он идет здесь, рядом.

МАКАРСКАЯ. О чем?

ВАСЕНЬКА. Называется "Развод по-итальянски".

МАКАРСКАЯ. О разводе? Не пойду! Они мне на работе надоели. Три дела – два развода. Что ни день, то развод! Это что же, в Италии, значит, так же?

ВАСЕНЬКА. Нет-нет! Там как раз все по-другому.

МАКАРСКАЯ. А я тебе говорю, что я их насмотрелась! Наслушалась! Нахожусь под впечатлением. Замуж не собираюсь.

ВАСЕНЬКА. Есть еще один... Но тоже о разводе. "День счастья".

МАКАРСКАЯ. Почему же так называется?

ВАСЕНЬКА. Там женщина ушла от плохого мужа к хорошему.

МАКАРСКАЯ. Это ей только так кажется. Еще что-нибудь идет или все?

ВАСЕНЬКА. Все.

МАКАРСКАЯ. Тогда лучше по-итальянски.

ВАСЕНЬКА. Иду за билетами?

МАКАРСКАЯ. Иди, кирюшечка, иди.

ВАСЕНЬКА. Какой сеанс?

МАКАРСКАЯ. Какой хочешь.

ВАСЕНЬКА. Тогда на все подряд. На все сеансы. На сорок лет вперед.

(Уходит.)

МАКАРСКАЯ. Одичал мальчишечка.

Появляется Сильва.

СИЛЬВА. Здравствуйте, Наташа.
МАКАРСКАЯ. Здравствуйте.
СИЛЬВА. Не помешаю?
МАКАРСКАЯ. Вроде бы нет.
СИЛЬВА (садится рядом). Меня зовут Семеном.
МАКАРСКАЯ. Неплохо. Откуда вы знаете мое имя?
СИЛЬВА. Не удивляйтесь. Я давно за вами наблюдаю. <...>
СИЛЬВА. Чем вы занимаетесь вечером?
МАКАРСКАЯ. Иду в кино. (Поднимается, идет к дому.)
СИЛЬВА (идет за ней). Кино... Хорошее занятие... А нельзя ли это самое кино перенести? На будущее.
МАКАРСКАЯ (на пороге). А. зачем?
СИЛЬВА. Как вы живете? Можно поинтересоваться?
МАКАРСКАЯ. Входите. Все равно ворветесь.
СИЛЬВА. Это действительно. (Входит вслед за Макарской в дом.)
Из подъезда выходят Нина и Бусыгин. Нина в плаще, с сумочкой.
БУСЫГИН. Нет-нет, иди одна. Лучше уж я пойду с отцом. Послушаю музыку.
Глинку, Берлиоза...
НИНА. Я тебе не советую.
БУСЫГИН. Почему?
НИНА. Никакого Берлиоза ты не услышишь.
БУСЫГИН. Как же? Отец сказал...
НИНА. Мало ли что он сказал. Вот уже полгода, как он не работает в филармонии.
БУСЫГИН. Seriously?
НИНА. Да. И лучше, если ты об этом будешь знать.
БУСЫГИН. Где же он работает?
НИНА. Работал в кинотеатре, а недавно перешел в клуб железнодорожников.
Играет там на танцах.
БУСЫГИН. Да?
НИНА. Но имей в виду, он не должен знать, что ты об этом знаешь.
БУСЫГИН. Понятно.
НИНА. Конечно, это уже всем давно известно, и только мы – я, Васенька и он – делаем вид, что он все еще в симфоническом оркестре. Это наша семейная тайна.
БУСЫГИН. Что ж, если ему так нравится...

НИНА. Я не помню своей матери, но недавно я нашла ее письма – мать там называет его не иначе как блаженный. Так она к нему и обращалась:

"Здравствуй, блаженный...", "Пойми, блаженный...", "Блаженный, подумай о себе...", "У тебя семья, блаженный...", "Прощай, блаженный..." И она права... На работе у него вечно какие-нибудь сложности. Он неплохой музыкант, но никогда не умел за себя постоять. К тому же он попивает, ну и вот, осенью в оркестре было сокращение, и, естественно...

БУСЫГИН. Погоди. Он говорил, что он сам сочиняет музыку.

НИНА (насмешливо). Ну как же.

БУСЫГИН. А что за музыка?

НИНА. Музыка-то?.. Потрясающая музыка. То ли кантата, то ли оратория.

Называется "Все люди – братья". Всю жизнь, сколько я себя помню, он сочиняет эту самую ораторию.

БУСЫГИН. Ну и как? Надеюсь, дело идет к концу?

НИНА. Еще как идет. Он написал целую страницу.

БУСЫГИН. Одну?

НИНА. Единственную. Только один раз, это было в прошлом году, он переходил на вторую страницу. Но сейчас он опять на первой.

БУСЫГИН. Да, он работает на совесть.

НИНА. Он ненормальный.

БУСЫГИН. А может, так ее и надо сочинять, музыку?

НИНА. Ты рассуждаешь, как он... И все-таки жалко.

БУСЫГИН. Чего жалко?

НИНА. Жалко с вами расставаться... Ничего не понимаю. Я так ждала отъезда, а теперь, когда осталось несколько дней... И с Васькой жалко расставаться. И с тобой. Хотя еще вчера я про тебя и знать не знала...

Слушай, братец! Где ты пропадал? Почему ты раньше не появился?

БУСЫГИН. Ноты знаешь...

НИНА. Нет бы раньше. Водил бы меня в кино, на танцы, защищал бы, уму-разуму учил. А то – на тебе, явился! В последний день, как нарочно. Это даже подло с твоей стороны.

БУСЫГИН. Что поделаешь?.. Оставайся, если хочешь. (Поправляется с заметной поспешностью.) Задержись, я имею в виду.

НИНА. Зачем?

БУСЫГИН. Ну... в кино сходим, на танцы...

НИНА. Ты же завтра уезжаешь?

БУСЫГИН. А я... я вернусь.

НИНА. Нет, все уже решено.

БУСЫГИН. Где ты с ним встречаешься?

НИНА. В центре, как обычно.

БУСЫГИН. Когда вы появитесь?

НИНА. Мы идем в кино. Здесь будем часов в восемь... Ну хочешь, пойдем вместе?

БУСЫГИН. Что я там буду делать?.. Нет. Познакомимся с твоим летчиком вечером.

НИНА. Надеюсь, он тебе понравится. Он хороший, он так ко мне относится... Ты не думай, я и другим нравилась. Я сама его выбрала.

БУСЫГИН. Почему? Он лучше всех?

НИНА. Он меня любит... Знаешь, увлечения есть увлечения, но в жизни хочется чего-то раз и навсегда.

БУСЫГИН. Понятно.

НИНА. Что тебе опять понятно?

Из домика слышится смех Макарской.

БУСЫГИН. Веселая женщина.

НИНА. Даже слишком. Опять кого-то подцепила...

БУСЫГИН. Ты к ней чересчур строга. Она милая женщина. <...>

НИНА. Ладно, я ухожу... Часа в два разбуди отца. Еда на плите, разогреете. Да посмотри за младшим братом, как бы он не сбежал.

БУСЫГИН. Не сбежит. Мы с ним договорились.

НИНА. Смотри, отец на тебя надеется... Счастливо. (Подходит к нему ближе.) А с этой (жест в сторону домика Макарской) ты все же лучше не связывайся. Хорошо?

БУСЫГИН. Хорошо... Счастливо тебе...

НИНА. Счастливо, братец. (Уходит.)

БУСЫГИН (помахав ей рукой, негромко). Прощай, сестренка...

На пороге появляются Сильва и Макарская. Макарская смеется. Бусыгин стоит у ворот, им с крыльца его не видно.

СИЛЬВА. Итак, когда солнце позолотит верхушки деревьев...

МАКАРСКАЯ (в дверях, смеясь). Хорошо, хорошо... Счастливенько!

СИЛЬВА (деловито). Значит, в десять.

МАКАРСКАЯ. В десять, в десять... (Исчезает, закрыв дверь.)

Сильва сходит с крыльца, замечает Бусыгина. <...>

БУСЫГИН. Тебе не кажется, что мы здесь загостились?

СИЛЬВА. Да нет, все нормально. Мне здесь уже нравится. Тебе тоже здесь неплохо. Дела идут.

БУСЫГИН. Какие дела?

СИЛЬВА. Я имею в виду сердечные.

БУСЫГИН. Ничего такого нет.

СИЛЬВА. Рассказывай, будто я не вижу. У вас бешеный интерес. Причем взаимный. На вас просто нельзя смотреть – плакать хочется.

БУСЫГИН. Брось. Она выходит замуж.

СИЛЬВА. Слышал, но...

БУСЫГИН (перебывает). И на днях уезжает. Вот и весь интерес... Хорошо мы погостили, весело, но пора и честь знать. Собирайся.

СИЛЬВА. Куда?

БУСЫГИН. Домой.

СИЛЬВА. погоди... Зачем? У меня же в десять свидание.

БУСЫГИН. Оно не состоится. Какого черта ты суешься куда не следует? Ты что, не видишь, что с пацаном делается из-за этой женщины?

СИЛЬВА. А я-то тут при чем?

БУСЫГИН. Не валяй дурака. И никаких свиданий. Все. Мы едем домой.

СИЛЬВА. Ни за что. Не могу же я обманывать женщину? <...>

БУСЫГИН. Хорошо. Раз мы друзья, я прошу тебя как друга: едем. Ты сам сказал, что ты мой друг.

СИЛЬВА. Ну правильно, друг. Но нельзя же сено на мне возить. С сестрой мне нельзя, с другой мне тоже нельзя, как же мне жить дальше?

БУСЫГИН. Короче, вот: если когда-нибудь ты постучишься в эту дверь (жест в сторону домика Макаарской), это плохо для тебя кончится. Понятно?.. Ну что? Ты остаешься?

СИЛЬВА. Черт с ней. Не ссориться же нам из-за женщины. Едем... Эту большую глупость я делаю только потому, что я тебя полюбил. В интересах мужской дружбы.

БУСЫГИН. Ладно, ладно...

СИЛЬВА. Жди меня здесь, я заберу гитару.

БУСЫГИН. Я найду тоже.

СИЛЬВА. Э, лучше ты этого не делай. Там папаша, разговоры. Опять на два часа.

БУСЫГИН. Он спит. Я напишу ему записку.

Неожиданно появляется Васенька. <...>

БУСЫГИН (Сильве). Иди, я сейчас.

Сильва исчезает в подъезде.

Ну так как, братишка, договорились?

ВАСЕНЬКА. Все железно.

БУСЫГИН. Я – другое дело, мне необходимо ехать... Может, даже сегодня. А ты... Короче, я надеюсь, что ты меня не подведешь.

ВАСЕНЬКА. Я остаюсь. Теперь это бесповоротно.

БУСЫГИН. Да нет, ты парень крепкий.

ВАСЕНЬКА. Ну ладно, ты иди.

БУСЫГИН. Слушаюсь, братишка. (Уходит в подъезд.)

Васенька стучится к Макарской. Та появляется.

МАКАРСКАЯ. Купил билеты?

ВАСЕНЬКА. Еще бы! Знаешь, какая была свалка?

МАКАРСКАЯ. Можно догадаться. Пуговицы-то где?

ВАСЕНЬКА. Одна здесь, другая там!

МАКАРСКАЯ. Давай хоть эту. Подожди. (Уходит в дом.)

Васенька достает из кармана запечатанный конверт, спички, сжигает конверт у крыльца ее дома.

(Появляясь.) Что ты делаешь?

ВАСЕНЬКА (весело). Так. Жгу одно послание.

МАКАРСКАЯ. Дай пиджак.

Какое-то время молча сидят на крыльце рядом. Васенька затих, замер и вдруг уткнулся головой в ее плечо.

Что это ты?..

ВАСЕНЬКА. Не знаю.

МАКАРСКАЯ. Легче, легче!.. (Подняла его голову снисходительным жестом.)

Разнежился мальчишечка!

ВАСЕНЬКА. Прости. Это у меня... пройдет...

МАКАРСКАЯ (отдает ему пиджак). Возьми. Когда эта пуговица оторвется, ты меня забудешь. Такая примета... Подожди, у тебя на какой сеанс билеты?

ВАСЕНЬКА. На последний, на десять часов... А что?

МАКАРСКАЯ. На десять? Ты с ума сошел!

ВАСЕНЬКА. Но ты сказала – на какой хочешь.

МАКАРСКАЯ. Только не на десять! <...>

ВАСЕНЬКА. Что случилось? У тебя свидание?

МАКАРСКАЯ. Ты что, прокурор? (Кричит.) Да не смотри на меня так! Кто это тебе сказал, что ты можешь так на меня смотреть?

ВАСЕНЬКА. У тебя свидание?

МАКАРСКАЯ. Угадал. Свидание! Ну и что? <...>

ВАСЕНЬКА. Зачем ты отправила меня за билетами, садистка?

МАКАРСКАЯ. Да пожалела я вас! Папу твоего пожалела...

ВАСЕНЬКА. Что-о?.. При чем здесь отец?

МАКАРСКАЯ. А при том, что он вчера ночью сватать меня приходил.

ВАСЕНЬКА. Врешь!

МАКАРСКАЯ. И что это за семейка такая, господи! За такого-то, за идиотика, – сватать! Это надо же додуматься!

ВАСЕНЬКА (хватает ее за руку). Я... я убью тебя!

МАКАРСКАЯ. Ты! Ха-ха! Напугал. Да ты и мухи-то и той не обидишь! Не в состоянии. (Выдергивает из его руки свою.) И вот что, детка. Все. Концерт окончен. Иди и не придуривайся. Пока тебя не выпороли. (Уходит, хлопнув дверью.)

Из подъезда выходят Бусыгин и Сильва с гитарой. На их глазах Васенька вдруг обрывает пуговицу, пришитую Макарской. Пуговицу эту – оземь!

БУСЫГИН. Братишка, что с тобой?.. Что случилось?

Васенька стоит в оцепенении.

БУСЫГИН. Кто тебя обидел?.. Она?

СИЛЬВА (Васеньке). Что бы я тебе посоветовал, старичок, так это махнуть рукой. На время. Ты любишь девушку – она крутит тебе динамо. Нормальное явление. А ты посмотри, что она будет делать, когда ты ее не будешь любить.

БУСЫГИН. Прекрати, что ты мелешь.

Васенька вдруг убегает в подъезд.

Балбес. Что ты натворил, ты видишь?

СИЛЬВА. Слушай, ты чего это, а? Заболел? Что он тебе, действительно родной брат, что ли?

БУСЫГИН. Черт подери... Что же теперь делать?

СИЛЬВА. Что делать? Сматываться. Раз собрались.

Появляется Сарафанов.

(Негромко.) Проснулся, дождались.

САРАФАНОВ. Володя!

БУСЫГИН. Что такое?

САРАФАНОВ (с отчаянием). Он собирает рюкзак! (Исчезает в подъезде.)

СИЛЬВА. Все. Пошли отсюда.

БУСЫГИН (с досадой). Я остаюсь.

СИЛЬВА. Ну вот, привет! (Проводит большим пальцем по струнам гитары.)

Значит, все по новой?.. Слушай, эта песня мне надоела.

Картина вторая

Квартира Сарафановых. Девятый час вечера. Бусыгин стоит у двери в соседнюю комнату. Сильва, лежа на диване, наигрывает на гитаре.

СИЛЬВА (напевает).

Ах, дети, дети, что же вы, дети,

Зачем вы пьете кровь мою,

У нас таких законов нету,

Чтоб брат любил сестру свою...

БУСЫГИН. Перестань.

СИЛЬВА. По-моему, он давно дрыхнет.

БУСЫГИН. Нет, в том-то и дело. Он смотрит в потолок (взглянул на часы) вот уже шестой час.

СИЛЬВА. Может, он умер?

БУСЫГИН (приоткрывает дверь). Послушай, старина, что ты там наблюдаешь?

Что-нибудь забавное? Из жизни тараканов, а?.. (Помолчав, закрывает дверь.) Бесполезно.

СИЛЬВА. Тебе нравится сестра, почему ты должен караулить брата? Мне непонятно. Слушай, а кто будет тебе этот парень, если... Зять, что ли?

БУСЫГИН. Вроде так.

СИЛЬВА. Зятек, точно! (Смеется.) Я тебе уже завидую. А кто такой?

БУСЫГИН. Курсант. Отличник боевой и политической подготовки.

СИЛЬВА. Представляю, что здесь получится. Может, тебе лучше удалиться?.. Я понимаю, ты хочешь повидаться с сестрицей.

БУСЫГИН. Может быть.

СИЛЬВА. Ясно. Хочешь с ней поговорить. Как следует, а?

БУСЫГИН. Это не твое дело.

СИЛЬВА. А курсант? А там папаша подойдет. Будет у вас потеха. А я тут при чем? (Бросает гитару, дотягивается до лежащего на трюмо семейного альбома Сарафановых и листает его.)

БУСЫГИН. Можешь пойти в кино. Вот билеты. Он их выбросил.

СИЛЬВА. Ну? Чего только нет в этом доме. (Берет билеты.) Я подумую.

(Листает альбом.)

БУСЫГИН. Ты говорил с этой девицей?

СИЛЬВА. О чем? (Показывает альбом Бусыгину.) Смотри, папаша, оказывается, тоже был молодым.

БУСЫГИН. Сказал ты ей, что между вами все кончено?

СИЛЬВА. Нет. Я же больше ее не видел.

БУСЫГИН. Мог бы сказать.

СИЛЬВА. Проживет без объяснений! Не маленькая. Я ее больше не знаю, как ты хотел... А скажи, она... ничего себе, а?

БУСЫГИН. Не вздумай потащить ее в кино. <...>

Стук в дверь.

Войдите, дверь открыта.

Входит Кудимов, курсант авиаучилища. В руках у него букет и две бутылки шампанского.

КУДИМОВ. Добрый вечер.

БУСЫГИН. Добрый вечер.

КУДИМОВ. Квартира Сарафановых?

БУСЫГИН. Да.

КУДИМОВ. А Нина? Разве она еще не пришла?

БУСЫГИН. Еще нет.

КУДИМОВ (подходит к столу). Черт возьми! У меня не так уж много времени. (Ставит бутылки.) Мы потерялись в гастрономе. (Берет со стола стакан. Энергичен.)

БУСЫГИН (вежливо). Вы здесь в первый раз?

КУДИМОВ (воткнув в стакан цветы). В первый раз, совершенно верно.

(Улыбается. Он и далее много улыбается. Добродушен.)

БУСЫГИН. Ну и ничего... сориентировались?

КУДИМОВ. А как же! (Подмигнув.) Знакомые места. (Ставит стакан с цветами на стол.) Ну что, парни, давайте знакомиться. <...>

Входит Нина.

НИНА (Кудимову). Ага, ты здесь. (Остальным.) Привет. (Проходит.) Познакомились?

СИЛЬВА. Было дело. <...>

НИНА. Сегодня ты опоздаешь. Я так хочу.

БУСЫГИН. Не слушай ее, курсант. Главное – быть принципиальным.

Появляется Сарафанов. Он выглядит утомленным, но настроение у него лирическое.

САРАФАНОВ. Добрый вечер, архаровцы! (Замечает Кудимова.) Извините.

НИНА. Познакомься, папа...

КУДИМОВ. Кудимов. Михаил.

САРАФАНОВ (церемонно, с подчеркнутым достоинством, слегка изображая блестящего гастролера, любимца публики). Сарафанов... Так-так... очень приятно... Наконец-то мы вас видим, так сказать, воочию. Очень приятно.

Садитесь, пожалуйста. (Бусыгину.) Васенька дома?

БУСЫГИН. Дома. Но он не в духе.

Сарафанов снимает шляпу, кладет ее на стол, в плаще опускается на стул. Нина уносит в прихожую его шляпу.

САРАФАНОВ (Кудимову). Мой старший сын. Познакомились?

КУДИМОВ. Да. Познакомились.

Возвращается Нина.

САРАФАНОВ. Спасибо... (Нине и Кудимову.) Ну что ж, молодые люди, что ж... Вы давно все обдумали, решили, а мы... Мы принимаем так, как оно есть. Такова уж наша участь.

КУДИМОВ (наливает всем шампанского). С вашего разрешения – за вас, за наше знакомство. <...>

САРАФАНОВ. Спасибо, спасибо. Но у меня другой тост, друзья... Извините, но я сяду. (Садится.) Устал... Сегодня я устал. Как будто я пешком прошел через весь город... (На мгновение смутился, потом – снова чуть рисуясь.) Глинка, если вы знаете, любил кларнет и в своих сочинениях всегда уделял ему много места...

В то время как Сарафанов говорит, Кудимов пристально всматривается в его лицо.

Да... Так вот. Сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей... (Замечая пристальный взгляд Кудимова.) Простите, отчего вы так на меня смотрите?

КУДИМОВ. Извините, но мне кажется, я вас где-то видел. Не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, но я вас где-то видел.

КУДИМОВ. Я видел вас на улице! <...>

НИНА. Ну слава богу. Надеюсь, ты успокоился?

КУДИМОВ. Ну конечно! (Сарафанову.) Я видел вас на похоронах.

Небольшая пауза.

НИНА. На каких похоронах?

КУДИМОВ. Черт! Как я мог забыть, ведь это было на прошлой неделе, и в руках у вас был этот самый кларнет!

НИНА. Нет, ты обознался.

КУДИМОВ. Ни в коем случае. Хоронили какого-то шофера, вы шли по улице Коминтерна часа в четыре дня. <...>

САРАФАНОВ. Да, я должен признаться... Михаил прав. Я играю на похоронах. На похоронах и на танцах...

КУДИМОВ. Ну вот! Что и требовалось доказать.

САРАФАНОВ (Бусыгину и Нине). Я понимаю ваше поведение... Спасибо вам... Но я не думаю, что играть на похоронах позорно.

КУДИМОВ. А кто об этом говорит?

САРАФАНОВ. Всякая работа хороша, если она необходима...

КУДИМОВ. Нет, вы не подумайте, что я вспомнил об этом потому, что мне не нравится ваша профессия. Где вы работаете – для меня не имеет никакого значения.

БУСЫГИН. Для тебя.

САРАФАНОВ. Спасибо, сынок... Я должен перед вами сознаться. Вот уже полгода, как я не работаю в оркестре.

НИНА. Ладно, папа...

КУДИМОВ (Нине и Бусыгину). А вы об этом не знали?

САРАФАНОВ. Да. Я скрывал от них... И совершенно напрасно...

КУДИМОВ. Вот что...

САРАФАНОВ. Да... Серьезного музыканта из меня не получилось. И я должен в этом сознаться...

КУДИМОВ. Ну что же. Уж лучше горькая правда, чем такие вещи.

БУСЫГИН. (показывает Кудимову часы). Десять минут. (Сарафанову.) Папа, о чем ты грустишь? Людям нужна музыка, когда они веселятся и тоскуют. Где еще быть музыканту, если не на танцах и похоронах? По моему, ты на правильном пути.

САРАФАНОВ. Спасибо, сынок... (Кудимову.) Вы видите? Что бы я делал, если б у меня не было детей? Нет-нет, меня не назовешь неудачником. У меня замечательные дети...

Из соседней комнаты выходит Васенька. Он в плаще, за плечами у него рюкзак.

ВАСЕНЬКА. Ага... Большое оживление в семейной жизни... Что ж, продолжайте, я желаю вам всего хорошего.

САРАФАНОВ. Васенька... Ты выбрал неподходящее время...

ВАСЕНЬКА. Нет, папа, нет, дорогой! На этот раз меня не остановишь.

БУСЫГИН (подходит к Васеньке с намерением снять с него рюкзак).
Послушай, старина, бросай мешок, не надо так спешить.
НИНА (подходит к Васеньке). Раздевайся. (Пытается снять плащ.)
ВАСЕНЬКА (Нине). Отстань. (Вырывается.) Что тебе надо? Чего тебе
не хватает? Положись на папу, он все устроит.

САРАФАНОВ. Васенька!

ВАСЕНЬКА. Зачем ты ходил к ней ночью? Кто тебя просил?

САРАФАНОВ. Васенька! Я хотел тебе добра.

ВАСЕНЬКА. Сумасшедший! Было лучше, когда ты обо мне не заботился!

НИНА (кричит). Замолчите!

СИЛЬВА (взглянув на часы, поднимается). Мне, право, неудобно... Лучше
я пойду. У меня билетик в кино, я думаю, общество не возражает?.. (Уходит.)

НИНА. Ну? Может, хватит? Или вы решили показать сегодня всю
программу целиком?

ВАСЕНЬКА. Прощайте! (Идет к двери.)

САРАФАНОВ. Пстой!

Бусыгин задерживает Васеньку.

Подожди. Я готов просить у тебя прощения, но я запрещаю тебе уходить.

БУСЫГИН (Васеньке). А как же наш уговор, старина?

ВАСЕНЬКА (вырывается). Пусти! Оставайся с ним сам, если тебе
хочется!

Вы мне все осточертели! (Бусыгину.) И ты тоже! Пусти, тебе говорят!
Я и видеть-то вас не могу!

САРАФАНОВ (вышел из себя). Пусти его... Раз так, пусть он убирается.

Силой мы его держать не будем.

Бусыгин отпускает Васеньку, и тот мгновенно уходит.

Ничего, ничего. Пусть-ка он один помыкается...

НИНА. Закатили... Очень красиво. Концерт для кларнета с оркестром.

САРАФАНОВ (забегал по комнате). Вот-вот. А теперь твоя очередь.
Вступай. Начинай. Пошли отца ко всем чертям. Не станешь же ты
со мной церемониться!

НИНА. Ну, начинается. (Кудимову.) Сейчас ты услышишь все, на что
они способны.

КУДИМОВ. Ничего, ничего... Я не обращаю внимания.

САРАФАНОВ. Вот именно! Не обращайтесь внимания! Наплюйте!
Делайте по-своему! (Убегает в спальню.)

БУСЫГИН (Кудимову, шепотом). Курсант, тебе пора.

НИНА (Бусыгину, кричит). Перестань! Что ты все суешься?

КУДИМОВ. Нет. В самом деле. Мне пора. Я уйду.

НИНА. Нет. Оставайся. Здесь должен быть хотя бы один здравомыслящий человек.

ГОЛОС САРАФАНОВА (из спальни, он кричит). Я здесь лишний, я знаю! Я прекрасно знаю!

НИНА. Папа, сейчас тебе лучше помолчать...

КУДИМОВ. Я очень сожалею, но мне действительно пора.

НИНА. Нет, ты останешься.

КУДИМОВ. Пойми меня правильно. У тебя каприз, а я дал себе слово...

НИНА (неожиданно сухо). Да. Иди. А то, чего доброго, в самом деле опоздаешь.

КУДИМОВ. Хорошо. Завтра увидимся. (Уходит.)

Нина выходит за ним.

САРАФАНОВ (появляясь). Куда же он? Зачем? Я здесь лишний. Я! Я – старый диван, который она давно мечтает вынести... Вот они, мои дети, я только что их хвалил – и на тебе, пожалуйста... Получай за свои нежные чувства!

Появляется Нина, останавливается у дверей.

Да, я воспитал жестоких эгоистов. Черствых, расчетливых, неблагодарных.

БУСЫГИН. Успокойся, папа, по-моему, ты не прав.

САРАФАНОВ. Да-да, я сделал свое дело, я их вырастил... (горько) теперь я свободен и на старости лет могу насладиться одиночеством...

БУСЫГИН. Ты не будешь один... Если ты не против, я останусь с тобой.

Небольшая пауза. Нина поднимает голову.

САРАФАНОВ. Ты сказал...

БУСЫГИН. Да. Если ты останешься один, я перееду к тебе жить. Если ты захочешь... В вашем городе тоже есть мединститут.

САРАФАНОВ (расстроганно). Сынок... Ты у меня один... Ты единственный. Что бы я делал, если бы не было тебя?

БУСЫГИН. Успокойся... По-моему, тебе надо прилечь, ты сильно переволновался. Пойдем, ты отдохнешь, успокоишься... (Уводит Сарафанова в соседнюю комнату и возвращается.)

НИНА. Ты в самом деле хочешь здесь остаться?

БУСЫГИН. Да... А как быть? По-твоему, можно оставить его одного? (Подходит к ней.) Сильно ты из-за курсанта расстроилась?

НИНА. Да уж. Показали вы... выступили... проявили таланты.

БУСЫГИН. Никто не хотел, чтобы ты расстраивалась.

НИНА. А ты? Куда ты суешь свой нос? Зачем? Почему ты сделал из него идиота?

БУСЫГИН. Он мне не нравится.

НИНА. Ну и что? Не ты же замуж за него собираешься!.. Что тебе надо?..

(Помолчав.) Ну, допустим, допустим, он не самый умный, не самый красивый, если даже так – тебе-то что до этого?

БУСЫГИН. Да нет, он парень неплохой... Не в этом дело...

НИНА. Так в чем дело? В чем?!

БУСЫГИН. Он мне не нравится, потому что мне нравишься ты.

НИНА. Что?.. И поэтому ты устроил скандал?..

БУСЫГИН. Возможно.

НИНА. Псих! Свалился на мою голову... Братец!.. Хороша семейка. Тебя тут только и не хватало... Я знаю, это у нас фамильное. Фамильная шизофрения!

БУСЫГИН. Успокойся! (Садится рядом с ней, слегка ее обнимает, утешает.)

Он парень хороший, но ты успокойся.

НИНА. А если я его люблю? Тогда как?

БУСЫГИН. Тогда все в порядке. Завтра он тебя будет ждать.

НИНА. Да, будет ждать.

БУСЫГИН. Ну и вот. И поженитесь. И уедете на Сахалин.

НИНА (не сразу, спокойно). Ни куда я не уеду.

БУСЫГИН. Как же так?

НИНА. Да так... Ты прав, отца нельзя оставлять. Сегодня я это поняла. И еще я поняла, что я папина дочка. Мы все в папу. У нас один характер...

Какой, к черту, Сахалин!

БУСЫГИН. Так... А летчик? Согласится он?..

НИНА. Не знаю я. Ничего не знаю... Может, согласится, а может, уедет. Встретимся – поговорим. Сейчас мне как-то все равно.

БУСЫГИН. Ну и не расстраивайся. Кому-кому, а тебе стоит только свистнуть, сбежит столько парней – тебе придется складывать их в штабеля.

НИНА (усмехнувшись). Ничего. Ты мне pomoжешь.

БУСЫГИН. Ну нет. С меня хватит... Если ты останешься здесь, я уеду.

НИНА. Здравствуйте! Это почему же?

БУСЫГИН. Почему?.. Потому что... Потому что я идиот и не вижу из этого никакого выхода!

НИНА. Какого выхода? Из чего?.. Да, ты ненормальный. Что верно, то верно. И ты всегда такой был? Или это с тобой недавно?

БУСЫГИН. Недавно.

НИНА. И что случилось?

БУСЫГИН. Влюбился.

НИНА. В кого?

БУСЫГИН. Как тебе сказать... Она принадлежит другому.

НИНА. Отбей. У тебя должно получиться.

БУСЫГИН. Легко сказать.

НИНА. А что тебе мешает?.. Ну? Что же ты молчишь?.. Я не знаю, кто она такая, но я (с удивлением) ей завидую. Иногда мне даже жалко, что ты мой брат.

БУСЫГИН. А я тебе не брат...

НИНА. Что?

БУСЫГИН. Я тебе не брат... И никогда не был твоим братом.

НИНА (поднимается). Врешь...

БУСЫГИН (поднимается). Я не шучу. У меня нет и не было сестры.

НИНА. Врешь... (Отступает от него.) Я тебе не верю.

БУСЫГИН. Но факт есть факт. Отца своего я не знал, а моя мать живет в Челябинске. Твой отец там никогда не был. Я обманул его.

НИНА. Зачем?

БУСЫГИН. Все вышло совершенно случайно...

НИНА. Ты... Почему ты до сих пор молчал?

БУСЫГИН. Твой отец принял меня за своего. И началось. Сначала он, потом ты. Я тут у вас совсем запутался...

НИНА. Ты... ты сумасшедший...

БУСЫГИН. Может быть, но я больше не хочу быть твоим братом.

НИНА. Ты... ты авантюрист. Тебя надо сдать в милицию!

БУСЫГИН. Сдай, лучше сидеть в КПЗ, чем быть твоим братом.

НИНА. Тебя надо гнать из дома... Тебя надо с лестницы спустить!

БУСЫГИН. Да?.. А когда я был твоим братом, я тебе нравился. Немного.

НИНА. Молчи, бессовестный!.. Я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь видел такого психа?

Появляется Сарафанов.

САРАФАНОВ. Володя! Я все понял! Из этого дома надо уходить. Уходить, пока тебя не вынесли! (С воодушевлением.) Сынок! Я все обдумал.

Мы едем в Чернигов!

Бусыгин в полной растерянности.

Мы едем вместе! Сегодня! Немедленно! Едем, едем, едем!

НИНА (засмеявшись). Ты женишься, надо полагать?

САРАФАНОВ (кричит). Все может быть! Не вижу в этом ничего смешного!

(Бусыгину.) Я думал об этом, в самом деле. Если твоя мать... Словом, я хочу ее видеть... (Нине.) Перестань! (Бусыгину.) Полюбуйся на нее! Для нее нет ничего святого. Я не могу здесь оставаться, ты сам видишь. Я собираю вещи, сейчас, сию минуту, немедленно. (Идет в другую комнату, на пороге, обращаясь к Нине.) Я возьму кларнет и ноты. Это все, что я отсюда возьму... Когда уходит поезд?..

БУСЫГИН. Н-не знаю...

САРАФАНОВ. Не важно! Я собираюсь. Немедленно! (Уходит.)

Молчание.

НИНА. Ну?.. Что ты собираешься делать?

БУСЫГИН (растерянно). Не знаю...

НИНА. Теперь ты понимаешь, что ты натворил? Понимаешь? Нас он уже за детей не считает, а ты стал его любимчиком. Ведь он в тебе души не чает.

Представляешь, что будет с ним, когда он узнает правду?

БУСЫГИН (мечется). Что же делать? Ничего ему не говорить?

Небольшая пауза. Смотрят друг на друга.

Нет! Так дело не пойдет! Главное – сказать ему, объяснить... Он мне не отец, но он мне... я его... Словом, если... (понижив голос) если ты уедешь, я и в самом деле перееду к нему. Конечно, если он меня поймет. Но как, как ему все объяснить?

НИНА. Не знаю. Вы сумасшедшие, вы и разговаривайте. А я не знаю.

Появляется Сарафанов. В руках у него чемодан и кларнет.

САРАФАНОВ. Володя, я готов.

Бусыгин и Нина молча смотрят на него.

НИНА. Собрался? Ничего не забыл? (Смеется.)

САРАФАНОВ. Смотри на нее! Разве это дочь? Избавилась от отца и даже не скрывает удовольствия. (Нине.) Ну ничего. Ты меня еще вспомнишь! Боже мой, как все это нелепо! Подумать только, я мог остаться с ними! На всю жизнь! А ведь им нужен не я! Нет! Совсем другой человек! Всегда! С самого начала им нужен был другой! Ты понимаешь? Двадцать лет я жил чужой жизнью! Свое счастье я оставил там, в Чернигове. Боже мой! Почему я ее не разыскал? Как я мог! Не понимаю! Но теперь – конечно,

кончено! Я возвращаюсь, возвращаюсь!

(Бусыгину.) Ты увидишь, твоя мать будет счастлива... (чуть образумившись) если захочет... Что?.. Ты мне не веришь?..

БУСЫГИН. Нет, верю, но... Зачем же так спешить?

САРАФАНОВ. Нет-нет! Немедленно! Закончить все разом! Разом – и конец!

На вокзал! На вокзал!.. Ну что ты, сынок? Идем!

НИНА (неожиданно ласково). Не надо, папа. Успокойся. Ты зря так волнуешься... (Усаживает его на стул.) Сядь, успокойся.

Небольшая пауза.

САРАФАНОВ (садится, недоуменно). Что такое?.. Что случилось?.. Володя?.. Ты от меня что-то скрываешь?

НИНА. Папа, я никуда не еду. Я остаюсь.

На пороге появляется Васенька. Вид у него испуганно-торжественный. Все оборачиваются к нему. Молчание.

(Васеньке.) Что случилось?.. Что?..

Небольшая пауза.

ВАСЕНЬКА. Все. Я их поджег.

БУСЫГИН. Поджег?.. Кого?

ВАСЕНЬКА. Ее и любовника.

САРАФАНОВ. Боже мой!

Все, кроме Васеньки, бросаются к окну. На пороге появляется Сильва. Лицо у него в саже. Одежда на нем частично сгорела, в особенности штаны. Он слегка дымит.

Молчание.

СИЛЬВА. Я крупно пострадал. Мне нужны брюки.

Появляется Макарская.

САРАФАНОВ (Макарской). Что случилось? Что?

МАКАРСКАЯ. А вы не видите? Сегодня он грозился меня убить, и вот – пожалуйста!

НИНА. Васенька – убить?..

САРАФАНОВ. Неужели?

МАКАРСКАЯ. Вот вам и неужели! Я сама думала – неужели, а он – вон как!

Озверел!

САРАФАНОВ (Васеньке). Как ты мог?.. Как?

МАКАРСКАЯ. А очень просто. Окно было открыто, он штору подпалил, а рядом ковер. Ну и пошло по всей комнате. Сжечь меня хотел.

СИЛЬВА (Сарафанову). Дайте мне брюки. Взаимы.

САРАФАНОВ. Брюки?.. Сейчас-сейчас... (Уходит в спальню.)

БУСЫГИН (подходит к Сильве). Ну?.. Любовничек...

СИЛЬВА. Какая любовь? Я там с огнем боролся. В гробу бы я ее видел, такую любовь.

МАКАРСКАЯ. Что?.. Вон ты как заговорил...

СИЛЬВА. А ты как хотела? Гори, если тебя поджигают, а я здесь при чем?

БУСЫГИН Жалко, что твоя шкура так плохо подгорела.

СИЛЬВА. Да ты что, старичок? Что ты говоришь?

БУСЫГИН. А ведь я тебя предупреждал.

СИЛЬВА. Вот, значит, как... Все сынка изображаешь? Брата?

БУСЫГИН. Слушай. Беги отсюда, пока цел.

СИЛЬВА. В таком виде? Куда?

МАКАРСКАЯ (Васеньке). Ты в самом деле хотел меня сжечь?

ВАСЕНЬКА (неожиданно спокойно). Ничего не вышло. Как видишь.

МАКАРСКАЯ (с удивлением и с некоторым уважением). Бандит. В один день стал бандитом.

СИЛЬВА. Да не он это, где ему. (Бусыгину.) Гони брюки, слышишь? Смех смехом, а ведь я и привлечь могу. Как-никак – поджог. (В сторону Макарской.) Она подтвердит.

МАКАРСКАЯ (Сильве). На меня не рассчитывай.

СИЛЬВА. Да? Может, ты ему спасибо скажешь за то, что он тебя поджег?

МАКАРСКАЯ. Может, скажу. (Васеньке.) Спасибо не скажу, но скажу, что такого я от тебя никак не ожидала.

СИЛЬВА. Думаешь, это он? Ошибаешься.

МАКАРСКАЯ (Сильве). А тебя я видеть не хочу.

СИЛЬВА. Взаимно. (Берет гитару.) Я ухожу... Но одолжите брюки! До завтра.

БУСЫГИН. Обойдешься. Это тебе даже идет. Давай отсюда... Или ты хочешь, чтобы я тебя проводил?

Сарафанов появляется с брюками в руках.

СИЛЬВА (в дверях). Ну, спасибо тебе, старичок, за все спасибо.

Настоящий ты оказался друг... Я ухожу. Но вначале я должен открыть глаза общественности. Хату поджег он (указывает на Бусыгина), а не кто-нибудь. И воду тут у вас мутит тоже он. Учтите, он рецидивист. Не заметили?.. Ну смотрите, он вам еще устроит. И между прочим (Нине),

он тебе такой же брат, как я ему племянница, учти это, пока не поздно. (Сарафанову.) А вы, папаша, если вы думаете, что он вам сын, то вы крупно заблуждаетесь. Я извиняюсь.

САРАФАНОВ. Вон отсюда! Вон!

Сильва исчезает.

Мерзавец! Небольшая пауза.

БУСЫГИН. Но он прав.

САРАФАНОВ. Кто прав?..

БУСЫГИН. Я вам не сын.

САРАФАНОВ. Что такое?.. Что это значит?

БУСЫГИН. Я вам не сын. Я обманул вас вчера.

САРАФАНОВ. Володя! Что ты говоришь?..

БУСЫГИН. Поймите, я не хотел! Все вышло случайно. Вчера, когда вы (в сторону Макарской) к ней стучались, я узнал ваше имя и заметил вашу квартиру. С этого все и началось. Мы хотели согреться и уйти...

МАКАРСКАЯ. погоди! Это ты искал вчера, где переночевать?

БУСЫГИН. Да. Все вышло само собой. Утром, вместо того чтобы уйти...

САРАФАНОВ. Это невозможно... Не верю. Быть этого не может!

БУСЫГИН. Я надеюсь, что вы меня простите, потому что я... В общем, я рад, что попал к вам...

САРАФАНОВ. Значит, ты мне... Выходит, я тебе... Как же так?.. Да нет, я не верю! Скажи, что ты мой сын!.. Ну! Сын, ведь это правда? Сын?!

БУСЫГИН. Нет...

САРАФАНОВ. Кто же ты? Кто?!

НИНА. Он – псих. Он настоящий псих, а мы все только учимся. Даже ты, папа, по сравнению с ним школьник. Он настоящий сумасшедший.

ВАСЕНЬКА. Ну и дела...

МАКАРСКАЯ. Да-а, история...

САРАФАНОВ. Но я не верю! Не хочу верить!

БУСЫГИН. Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын. (Взглянув на Нину.) Но факт есть факт.

САРАФАНОВ. Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу! Ты – настоящий Сарафанов! Мой сын! И притом любимый сын!

НИНА (Бусыгину). Я тебе говорила... (Сарафанову, весело.) А я? А Васенька? Интересно, ты еще считаешь нас своими детьми?

САРАФАНОВ. Нина! Вы все мои дети, но он... Все-таки он вас постарше. Все смеются.

МАКАРСКАЯ. Чудные вы, между прочим, люди.

НИНА (смеется). Чудные – дом чуть не сожгли.

Макарская махнула рукой.

САРАФАНОВ. То, что случилось, – все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда...

Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов – все рядом. Макарская в стороне.

Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. (Всем троим.) Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плох я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное...

МАКАРСКАЯ. Извините, конечно. (Бусыгину.) Но я хочу спросить. У тебя родители имеются?

БУСЫГИН. Да... Мать в Челябинске.

НИНА. Она одна? (Смеется.) Папа, тебя это не интересует?

БУСЫГИН. Она живет с моим старшим братом.

НИНА. А сам ты? Как ты сюда попал?

БУСЫГИН. Я здесь учусь.

САРАФАНОВ. Где же ты живешь?

БУСЫГИН. В общежитии.

САРАФАНОВ. В общежитии... Но ведь это далеко... и неудобно. И вообще, терпеть я не могу общежитий... Это я к тому, что... Если бы ты согласился... словом, живи у нас.

БУСЫГИН. Нет, что вы...

САРАФАНОВ. Предлагаю от чистого сердца... Нина! Чего же ты молчишь? Пригласи его, уговори.

НИНА (капризно). Ну с какой стати? Почему он должен жить у нас? Я не хочу.

БУСЫГИН. Я буду вас навещать. Я буду бывать у вас каждый день. Я вам еще надоем.

САРАФАНОВ. Володя! Я за то, чтобы ты у нас жил – и никаких.

БУСЫГИН. Я приду завтра.

НИНА. Когда?

БУСЫГИН. В семь... В шесть часов... Кстати! Который час?

НИНА. Половина двенадцатого.

БУСЫГИН. Ну вот. Поздравьте меня. Я опоздал на электричку.

Занавес

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
-------------------------	----------

Раздел первый. ЛИШНИЕ ЛЮДИ

И. С. Тургенев	5
Дневник лишнего человека (фрагменты)	5

А. С. Пушкин

Евгений Онегин. Роман в стихах	10
Глава первая.....	11
Глава вторая.....	22
Глава третья.....	31
Глава четвертая.....	41
Глава пятая.....	51
Глава шестая.....	60
Глава седьмая.....	70
Глава восьмая.....	81

И. А. Гончаров

Обломов. Роман (фрагмент)	93
--	-----------

Раздел второй. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

М.Ю. Лермонтов

Герой нашего времени. Роман (в сокращении).....	116
Часть первая. I. Бэла	117
II. Максим Максимыч.....	147
<i>Журнал Печорина</i>	155
Предисловие	155
I. Тамань.....	156
Часть вторая (Окончание журнала Печорина)	165
II. Княжна Мери	165
III. Фаталист	166

Ч.Т. Айтматов

Плаха (фрагменты глав романа)	174
<Акбара и Ташчайнар>.....	174
<Неожиданная встреча>	179
<Авдий и Хунта>.....	182
<Смерть Авдия>	187
<И наступил тот день...>	195

Раздел третий. ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Ф.М. Достоевский

Преступление и наказание (фрагменты глав романа)	203
Часть первая	
VII. <Убийство>	203
Часть третья	
VI. <Четвертый сон Раскольникова>	213
Эпилог I.	
<Болезнь. Сны. Воскресение>	223

А.Н. Островский

Бесприданница. Драма в четырех действиях (фрагменты).....	230
Действие Первое	230
Явление Первое	231
Явление Второе	232
Действие Четвертое	238
Явление Пятое	238
Явление Шестое	239
Явление Седьмое	241
Явление Восьмое	243
Явление Девятое	245
Явление Десятое	246
Явление Одиннадцатое	246

Раздел четвертый. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Л.Н. Толстой

Война и Мир (фрагменты)	249
Том I. Часть I.....	249
VII-XI <Именины у Ростовых>	249
XX <Свидание Пьера с умирающим отцом графом Безуховым>	263
XXI <Схватка между Анной Михайловной Друбецкой и князем Василием Курагиным за портфель>	267
XXII <Имение Лысье Горы. Старый князь Болконский и княжна Марья> ..	271
XXIII-XXV <Приезд Князя Андрея с женой к отцу>	275
Том II Часть третья.....	292
XIV-XIX <Сборы Ростовых на бал. Первый бал Наташи Ростовой>	292
XXIII-XXIV <Князь Андрей просит руки Наташи Ростовой>	304
Часть пятая	311
IX <Наташа Ростова в опере>	311
X-XII <Знакомство Наташи с Анатолом Курагиным>	314
XIII-XV <На вечере у Элен. Встреча с Анатолом Курагиным.>	322
XVI <План похищения Наташи Ростовой>	330
XVII-XVIII <Несостоявшееся похищение>	331
XIX <Разговор Пьера с Наташей об Анатоле>	335
Том III. Часть третья	338
XIII-XVI <Отъезд Ростовых из Москвы перед сдачей ее французам>	338
XV-XVII <Ростовы отдают подводы для раненых>	341
XXXI-XXXII <Встреча Наташи Ростовой с раненым Болконским>	349
Эпилог	
Часть I	355
VII-XVI.....	355

А.В. Вампилов

Старший сын. Комедия в двух действиях (в сокращении)	379
Действие первое.	
Картина первая	379
Картина вторая	382
Действие второе.	
Картина первая	396
Картина вторая	404

Лукпанова Гульшара Газизовна, Савельева Вера Владимировна,
Кутукова Елена Олеговна, Асадилаева Аида Шамилевна

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ХРЕСТОМАТИЯ

Для 10 класса общеобразовательной школы
общественно-гуманитарного направления

Редакторы *Кутукова Елена*
Художественный редактор *Мейрбеков Ермек*
Технический редактор *Бошанова Зайра*
Компьютерный дизайн и верстка *Мейрбеков Ермек*

Подписано 28.12.2018 в печать.
Формат 70х90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «SchoolBook Kza». Печ. л. 26,25.



ТОО Издательство «Жазушы», Республики Казахстан,
050009, г. Алматы, пр. Абая, 143,
e-mail: zhazushi@mail.ru